

ДЖЕК
ЛОНДОН

Странник по звездам



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Джек Лондон
Странник по звездам

«АСТ»

1915

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)

Лондон Д.

Странник по звездам / Д. Лондон — «АСТ»,
1915 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-078658-9

Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно уничтожить. Такова основная тема почти неизвестного современному отечественному читателю, но некогда необыкновенно популярного фантастического романа Джека Лондона, герой которого, объявленный сумасшедшим, в действительности обладает поразительным даром усилием воли покидать свое физическое тело и странствовать по самым отдаленным эпохам и странам. Ему не нужна машина времени – машина времени он сам. Брэнная плоть может томиться за решеткой – но разве это важно, если свободны разум и дух?..

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)

ISBN 978-5-17-078658-9

© Лондон Д., 1915
© АСТ, 1915

Содержание

Глава I	6
Глава II	10
Глава III	15
Глава IV	19
Глава V	24
Глава VI	29
Глава VII	34
Глава VIII	39
Глава IX	42
Глава X	45
Глава XI	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Джек Лондон

Странник по звездам

© Перевод. Т. Озерская, наследники, 2011

© ООО «Издательство Астрель», 2013

Глава I

Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах. И о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей... Поверь мне, мой будущий читатель, то же бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю, – ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму, твое сознание еще находилось в процессе формирования... О да, ты становился самым собой, и ты забывал.

Ты многое позабыл, мой читатель, и все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождаются видения иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому взору. Сегодня они кажутся снами. Но если это сны, сившиеся тебе тогда, то что породило их, какая реальность? В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком, ты падал во сне, читатель, с головокружительной высоты; тебе снилось, что ты летаешь по воздуху, словно для тебя привычно летать; тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног, рожденные в болотном иле; ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые; ты взирал на утренние и вечерние зори, подобных которым – ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, – ты никогда не видел.

Прекрасно. Эти отрывки детских воспоминаний – они принадлежат к другому миру, к другой жизни, они – часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоём нынешнем мире, в твоей нынешней жизни. Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочтешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик и которые ты, еще прежде чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам.

Вордсворт это знал. Он не был ни пророком, ни ясновидящим, он был самым обыкновенным человеком, как ты или любой другой. То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом – в тех строках, которые начинаются так:

«Не в полной наготе и не в забвенье полном...»

Да, мрак темницы смыкается над нами, едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да, да. И в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы тем не менее уже с момента появления на свет знаем чувство страха, страх живет в наших воспоминаниях, – *а воспоминания возникают из опыта.*

Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда я едва начинал складывать слова, а чувство голода или желание сна выражал еще в нечленораздельных звуках, – да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не произносил слова «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню: я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо.

Более того. В возрасте трех... четырех... пяти лет я не был самым собой. Я еще только начинался, мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих

жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною.

Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве, вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие, долгие годы, в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я», и общался с ними, и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познание, которое ты разделишь со мной как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги.

Итак, как я уже сказал, в возрасте трех, четырех и пяти лет я еще не был самим собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму, в сосуде моего тела, и могучее неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовало на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне, без сомнения, не было и не могло быть известно. И не о том же ли самом говорят мои детские пристрастия, вспышки ярости или приступы хохота? Чужие голоса звучали в моем голосе, голоса живших когда-то встарь мужчин и женщин, голоса теней – моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей, более древних, чем горы, и в детском моем неистовом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама.

Ну вот, я и выдал свою тайну. Багровая ярость! Вот что погубило меня в этой, нынешней жизни. Вот по милости чего через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях, ибо багровая ярость – это роковое, гибельное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался.

Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный и не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррел Стэндинг. Кое-кто из вас, прочтя эти строки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе.

Восемь лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскелл. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я и есть тот Даррел Стэндинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват в этой ссоре, не имеет значения. То было сугубо личное дело. Важно лишь одно: в припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так было записано в судебном решении, и я признаю, что на этот раз суд не ошибся.

Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был приговорен к пожизненному заключению. Мне было тогда тридцать шесть лет. Теперь мне сорок четыре года. Восемь последних лет я провел в Сен-Квентине – в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет пять лет я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо. Но мне во время этих пяти лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей. Я был заперт в одиночке, меня бдительно охраняли, и тем

не менее я не только скитался по свету, но странствовал и во времени. Те, кто замуровал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Моррелу я в течение пяти лет был скитальцем звездных пространств. Но Эд Моррел – это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать.

Начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Отца моего звали Чонси Стэндинг – он был коренным американцем. Его род восходил к Элфриду Стэндингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозревать пенсильванские леса.

Сын Элфрида Стэндинга сражался в рядах революционной армии; внук принимал участие в войне 1812 года. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стэндингов. Я, последний из Стэндингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства, в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах, ради чего в самом расцвете своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небрасском университете. Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета! Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя-поэта дней, давно канувших в прошлое и даже не занесенных в книгу истории.

И вот я здесь, в Коридоре Убийц государственной тюрьмы Фолсем, и руки мои багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак, – мрак, которого они страшатся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся и хнычущих, к алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию.

Да, мне уже никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее, воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удои коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву – мне достаточно было посмотреть на пейзаж, – и я уже знал все ее достоинства и недостатки. Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы определить щелочность или кислотность почвы. Повторяю: земледелие в самом высоком научном аспекте – вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения, могут отнять мудрость, что накапливалась во мне тысячелетиями и бережно взращивалась еще в те дни, когда на лугах Трои не начали пастись стада кочевников-скотоводов.

А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистаре, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на полмиллиона долларов!.. Это вошло в историю. Не один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Не одна милая девушка, не один ясноглазый юноша, склонившиеся над университетским учебником, вспоминают, что это я своими опытами в Уистаре сделал доступным для них это обучение.

А методы ведения сельского хозяйства! Я знаю все причины всех потерь – мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно не сомневаться, что в эту

самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенно хмурясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую. Однако мне самому уже давно не нужны мои диаграммы, мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда.

А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в Коридоре Убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя – он направляется сюда, чтобы выбрать меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть!

Глава II

Я Даррел Стэндинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах.

После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан «неисправимым». «Неисправимый» – это зверь в человеческом облике; таков он по крайней мере в глазах тюремщиков. Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительной затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице Древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром.

Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня.

Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лабораторий и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стэндингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо: зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом! Странно было наблюдать, как наука prostituiрует всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество.

Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стэндингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство, потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем, и вот так, сидя за письменным столом, я и провоял всю испано-американскую войну.

Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд «неисправимых». Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя «неисправимость» стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе, в свой личный кабинет, чтобы усовестить:

– Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела

в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете, но вы не умеете ткать джут, в этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет...

Но стоит ли повторять всю эту тираду – ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак, и он решил, что я неисправим безнадежно.

Назови собаку бешеной... ну, вам известна эта пословица. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения. Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных, и я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней.

Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной.

В тюрьме содержался один заключенный – поэт. Это был выродец с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик. И трус. И доносчик. И легавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии, но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно.

Поэта-фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден, но тем не менее на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродец, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности.

События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности. Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства: а) все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопных бегах, а клопные бега были излюбленным развлечением заключенных; б) я был собакой, которую называли бешеной; в) для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки – кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых.

Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда, и когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали – все знали, что он доносчик. Однако в конце концов он их все-таки одурачил – одурачил сорок самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова. Рассказывал им о влиянии, которым пользуется в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку.

– Докажи, – сказал ему горец Билл Ходж, по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту: тем или иным способом вырваться на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде.

Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега.

– Слова дешево стоят, – сказал ему Длинный Билл Ходж. – Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. Дежурит Барием. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то – уже с дежурства сменился. Сегодня

он дежурит ночью. Усыпи его – пускай-ка его выгонят отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле.

Все это Длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. Ему нужно время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки, сказал он. Время ему было дано, и неделю спустя он заявил, что все готово. Сорок умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барнем или не заснет. И Барнем заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве.

Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. А Сесил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией. Надзиратель захотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность. О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя – так медленно открываются тайные тюремные интриги.

Уинвуд заявил, что сорок заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для доставки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей.

– Докажи, – вероятно, потребовал надзиратель.

И поэт-фальшивомонетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных – пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю, и Уинвуду это было известно.

– Сегодня ночью, – сказал Уинвуд надзирателю, – Саммерфейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов сорок четвертого калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны. А сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек. Завтра утром он сам обо всем вам доложит.

Этот Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт. Простодушный, покладистый и недалекий малый, он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой пятнадцать фунтов хорошего курительного табака. Он проделывал это и раньше и обычно передавал табак Сесилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз: не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержавшей ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что Уинвуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю.

И вот тут-то поэт-фальшивомонетчик не сумел обуздать полета своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку, и я угодил в одиночную камеру на пять лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек сорок пожизненно заключенных. Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Еще меньше подозревал о чем-либо Саммерфейс. В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключенным.

Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сесил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал. И его фантазия сорвалась с узды.

– Да, ты не соврал, он действительно передал пакет, – начал надзиратель.

– И содержимого этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух, – объявил Уинвуд.

– Какого содержимого? – оторопел надзиратель.

– Динамита и детонаторов, – выпалил этот идиот. – Тридцать пять фунтов. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне.

Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть. Шутка ли – тридцать пять фунтов динамита в тюрьме!

Говорят, что капитан Джеми (так его прозвали) упал на стул и схватился руками за голову.

– Где же этот динамит? – закричал он. – Я должен забрать его немедленно. Сейчас же веди меня туда!

И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.

– Я спрятал динамит, – солгал он.

Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными.

– Очень хорошо, – сказал капитан Джеми, беря себя в руки. – Сейчас же отведи меня туда.

Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попросту не существовало, ни сейчас, ни раньше – не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда.

В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой.

Как докладывал впоследствии капитан Джеми главному тюремному начальству – и это подтвердил сам Уинвуд, – по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним.

А меня только что выпустили из карцера, где я пробыл пять суток, и из них – восемьдесят часов в смиренной рубашке, – и так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня, в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания! Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать тридцать пять фунтов несуществующего динамита!

Уинвуд привел капитана Джеми к предполагаемому тайнику. Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита.

– Боже мой! – притворно ужаснулся Уинвуд. – Стэндинг провел меня. Он перепрятал пакеты в другое место.

У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду.

Что оставалось делать капитану Джеми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятаны тридцать пять фунтов динамита и сорок отпетых преступников, приговоренных к пожизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется, он допросил Саммерфейса, и хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся, что там был динамит, и ему поверили.

В этот момент на сцене появляюсь я, вернее, наоборот – совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить пять долгих лет.

Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки, и я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня снова бросили в карцер.

– Теперь, – сказал Уинвуд капитану Джеми, – хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает. Стэндинг – единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить не сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью, в два часа, они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное, а потом отомкну камеры и раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью, надзиратель, вы не поймаете с поличным, в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех сорок, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда, кроме Стэндинга, и все остальные сорок будут надежно запрятаны в карцер, у нас времени будет хоть отбавляй, чтобы разыскать этот динамит.

– Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, – храбро заявил капитан Джеми.

Все это было шесть лет назад. За истекшее время им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не существовавшего динамита, хотя они тысячу тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытаясь его разыскать. Тем не менее до последней минуты своего пребывания на посту начальник тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и сейчас остается тем старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее как вчера он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолсема, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят.

Глава III

Весь тот день, в карцере, я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов я пришел к единственному возможному заключению: какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, написал мне нарушение правил тюремного распорядка.

Тем временем капитан Джеми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи, а Уинвуд сообщил сорока пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа пополудни вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило два часа, они ворвались в камеры сорока пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все сорок человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения, оказались одетыми: ни один не лежал на своей койке, все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фальшивомонетчик опутал капитана Джеми. Сорок заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все как один утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что сорок заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же – не прошло и трех месяцев, как Сесил Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию.

Что ж, тюрьма – хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал несколько лет заключения, обязательно видит, как разлетаются прахом самые дорогие ему иллюзии и лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. Истина бессмертна, учат нас; рано или поздно преступление выйдет наружу. Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство, все до единого человека, и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выродка, фальшивомонетчика и поэта – Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный, самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель.

А теперь я расскажу вам, как сорок пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал. Стук двери, ведущей в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. Еще какой-то бедняга, подумалось мне. Крепко ему достается, решил я, услышав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брань и шорох волочимых по полу тел: всех сорок заключенных зверски избили по дороге в карцер.

Одна за другой отворялись двери карцеров, и кого-то вталкивали, кого-то втаскивали, кого-то швыряли туда. И снова и снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе.

Оглядываясь назад, я вижу, что нужно быть поистине философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение восьми лет я выносил эту пытку, и теперь, наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки. Ну, а жертвы, подобно шекспировскому пут-

нику, больше не возвращаются в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так. Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга, – о повешенных, чьи шейные позвонки оставались целы и невредимы.

Странная вещь – повешение. Я никогда не видел, как вешают, но наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз, так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, – руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом – под моими ногами развернется дыра, и я буду падать до тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столбятся врачи и один за другим будут взбираться на табурет и, обхватив руками мое тело, чтобы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и двадцать минут истечет с того мгновения, как откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить: они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни, после того как ему накинули петлю на шею.

Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования и задать два-три вопроса обществу. Я имею право и отклоняться и задавать вопросы: ведь в самом непродолжительном времени меня выведут из этой камеры и сделают со мной то, что я только что описал. Так вот: если шейные позвонки жертвы непременно должны сломаться благодаря вышеупомянутому хитроумному расположению узла и петли, а также точному расчету веса жертвы и длины веревки, зачем же тогда, спрашивается, заковывают руки жертвы в кандалы? Общество в целом не в состоянии ответить на этот вопрос. Но я знаю, для чего это делается. И это знает каждый палач-любитель, хотя бы раз принимавший участие в линчевании и видевший, как жертва хватается руками за веревку, чтобы ослабить стягивающую горло петлю, которая ее душит.

И еще один вопрос задам я самодовольному, закутанному в благополучие, как в ватку, члену современного общества, душа которого никогда не спускалась в преисподнюю: зачем закрывают они голову и лицо жертвы черным колпаком прежде, чем открыть люк под его ногами? И не забудьте, что в самом непродолжительном времени этот черный колпак будет надет на голову мне. Так что я имею право спрашивать. Или они, эти псы, эти твои верные цепные псы, о самодовольный обыватель, страшатся взглянуть в лицо жертвы, в котором, как в зеркале, отразится весь ужас того преступления, которое они совершают над нами для вас и по вашему приказу?!

Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в год тысяча двухсотый от Рождества Христова, и не в год рождения Христа, и не в год тысяча двухсотый до Рождества Христова. Я, которого повесят в этом году, в году тысяча девятьсот тринадцатом от Рождества Христова, задаю эти вопросы вам, тем, кто, как принято думать, является последователем Христа, вам, чьи цепные псы, чьи гнусные прислужники-вешатели выведут меня из моей камеры и спрячут мое лицо под куском черной материи, ибо они не осмеливаются взглянуть на страшное злодеяние, которое они совершат надо мной, пока я еще буду жив.

Но вернемся к тому, что происходило у нас в карцерах. Когда последний надзиратель удалился и дверь коридора захлопнулась за ним, все сорок избитых, растерявшихся людей начали переговариваться и задавать друг другу вопросы. Но тут один из пожизненно заключенных, великан-матрос по прозвищу Брамсель Джек, заревел, словно бык, требуя тишины, чтобы можно было произвести перекличку. Все карцеры были заполнены, и вот из каждого карцера по очереди стало доноситься, сколько в нем заперто человек и как их зовут. Таким образом было установлено, что в карцерах находятся только проверенные люди и можно не опасаться, что нас подслушивает доносчик.

Только я, единственный из всех, вызывал у заключенных подозрение, потому что только я не принимал участия в подготовке к побегу. И я был подвергнут самому придирчивому допросу. А что я мог им сообщить? Сегодня утром, едва с меня сняли смирительную рубашку и вывели из карцера, как тут же, без малейшего, насколько я мог понять, повода, меня снова швырнули в карцер. Но моя репутация «неисправимого» сослужила мне на сей раз хорошую службу, и скоро они заговорили о деле.

Я лежал и слушал и лишь тут впервые узнал о том, что готовился побег.

«Кто же донес?» – Этот единственный вопрос был у всех на устах, и всю ночь до рассвета он повторялся снова и снова. Сесила Уинвуда среди брошенных в карцеры не оказалось, и подозрение пало на него.

– Остается только одно, ребята, – сказал в конце концов Брамсель Джек. – Скоро утро, и, значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали что называется с поличным: ночью, в одежде. Уинвуд обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех, одного за другим, и превратят в котлеты. Нас сорок человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, как под присягой.

И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, четыре десятка пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей, один за другим торжественно поклялись говорить только правду.

Однако их правдивость принесла им мало пользы. В девять часов утра наши тюремщики – эти наемные убийцы на службе у самодовольных обывателей, олицетворяющих государство, – сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды. А избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? «Обработали» – так называется это на нашем языке. Впрочем, нет, я не стану рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди семь часов оставались без воды.

В девять часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много. Да много и не требовалось – ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотыг. Это очень удобное орудие для «дисциплинирования» беззащитного человека. Двери карцеров отворялись одна за другой, и – карцер за карцером – осужденных на пожизненное заключение людей избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие: меня избивали, как и всех остальных. И это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу, которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных палачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе.

Я прошел через все муки тюремной жизни, через нечеловеческие муки, но страшнее всего, куда страшнее даже того, что готовят мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни.

Первым на допрос взяли Длинного Билла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через два часа – вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Поладзо, сан-францисского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны.

Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное.

– Что это еще за динамит? – спросил он наконец. – Кто знает что-нибудь о динамите?

И, разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом.

Луиджи Поладзо вернулся даже раньше чем через два часа, но это было уже лишь какое-то подобие человека: он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос, а вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре, ибо остальным еще предстояло пройти через то, что он испытал, и всем хотелось узнать, что с ним делали и о чем спрашивали.

Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос, когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У Луиджи на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая, чистая кровь: он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных, после того как я повисну в петле и навсегда избегну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии.

Одного за другим – и всякий раз по одному – заключенных уводили из камер, и один за другим, воя и стеноя во мраке, обратно возвращались сломленные и телом и духом люди. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, и смутные воспоминания рождались в моей душе: мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте, и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я, римский военачальник, слушал их, сидя на корме одной из галер Древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим... Но об этом я расскажу позднее. А пока...

Глава IV

А пока я был во власти ужаса, наблюдая то, что творилось в карцерах, после того как был обнаружен готовившийся побег. Ни на секунду за все эти бесконечные часы ожидания, ни на секунду не покидала меня мысль о том, что рано или поздно настанет и мой черед отправиться тем же путем, как и другие заключенные, что и меня, как и других, подвергнут чудовищным мукам допроса, а потом принесут обратно утратившим человеческий облик и швырнут на каменный пол за обитую железом дверь карцера.

И за мной пришли. Безжалостно, грубо, с пинками и проклятиями, погнали куда-то, и я предстал перед капитаном Джеми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными своими подручными – наймитами штата Калифорния и налогоплательщиков: с полдюжины палачей-надзирателей топталось в комнате, ожидая приказаний. Но их услуги не понадобились.

– Садись, – сказал мне начальник Азертон, указав на крепкое деревянное кресло.

Но я, избитый и измученный, весь день и всю ночь страдавший от жажды, ослабевший от голода и побоев, обрушившихся на меня после пяти дней карцера и восьмидесяти часов смиренной рубашки, подавленный бедственной нашей судьбой и трепещущий перед предстоящим допросом (я ведь знал, что сделали с другими заключенными), словом, я, жалкое, дрожащее подобие человека и бывший профессор агрономии в тихом университетском городке, я колебался, не решаясь сесть.

Начальник тюрьмы Азертон был крупный мужчина могучего сложения. Его руки ухватили меня за плечи, и во власти этой силищи я почувствовал себя соломинкой. Он приподнял меня над полом и со всего маху швырнул в кресло.

– А теперь, – сказал он, в то время как я старался подавить крик боли и с трудом переводил дыхание, – ты расскажешь мне все, что тебе об этом известно, Стэндинг. Выкладывай, все выкладывай, если хочешь остаться цел.

– Я не знаю, что произошло, решительно ничего не знаю... – начал я.

Вот и все, что я успел сказать. С рычанием он кинулся на меня, снова высоко поднял и швырнул в кресло.

– Брось валять дурака, Стэндинг, – угрожающе произнес он. – Выкладывай все как есть. Где динамит?

– Я ничего не знаю ни о каком динамите, – возразил я.

И снова я был поднят и брошен в кресло.

Меня не раз подвергали самым разнообразным пыткам, но когда теперь в тишине последних оставшихся мне дней жизни я размышляю над этим, меня не покидает уверенность в том, что никакая пытка не сравнится с этим швырянием в кресло. Крепкое кресло постепенно превращалось в обломки под ударами моего тела. Потом принесли другое кресло, и вскоре и оно было разломано в щепы. Но приносили еще кресла, и снова и снова раздавался все тот же вопрос: «Где динамит?»

Когда начальник тюрьмы утомился, его сменил капитан Джеми, а затем тюремщик Моноэн пришел на смену капитану Джеми и тоже принялся вколачивать меня в кресло: «Где динамит? Где динамит? Где динамит?» А динамита не было. К концу допроса я с радостью отдал бы свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, местонахождение которого я мог бы указать.

Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бессчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в какой-то смутный кошмар. Меня пинками заставили идти куда-то, потом полунесли, полуволочили по темному коридору. А когда я очнулся в своей камере, то обнаружил там доносчика. Это был тщедушный человечек с мертвенно-бледным лицом наркомана, заключенный на короткий срок и готовый решительно на

все, лишь бы раздобыть наркотик. Едва я увидел его, как тотчас подполз к решетке и крикнул из последних сил:

– Ко мне посадили легавого, ребята, – Игнатиуса Ирвина! Держите язык за зубами!

И такой взрыв бешеной ругани прогремел мне в ответ, что тут, пожалуй, струхнул бы и более отважный человек, чем Игнатиус Ирвин. Он же до того перетрусил, что на него жалко было смотреть. А избитые заключенные, рыча от боли и ярости, словно дикие звери, осыпали его угрозами и расписывали на все лады, что сделают они с ним, попадись он им только.

Имей мы секреты, присутствие доносчика заставило бы нас прикусить язык. Ну, а так как мы ничего не знали и поклялись говорить правду, то никто и не подумал молчать в присутствии Игнатиуса Ирвина. История с динамитом была для всех главной и неразрешимой загадкой, она всех ставила в тупик не меньше, чем меня. И все обратились ко мне. Все заклинали меня чистосердечно признаться, если мне известно что-нибудь о динамите, и спасти их от дальнейших страданий. А я мог ответить им только истинную правду: я ничего не знаю об этом динамите.

Прежде чем надзиратели увели от меня Ирвина, я успел узнать от него одну новость, показавшую, что эта история с динамитом – дело не шуточное. Я, разумеется, передал эту новость дальше. Ирвин сказал, что в тот день в тюрьме не работала ни одна мастерская. Тысячи заключенных оставались взаперти в своих камерах, и похоже было на то, что работа не возобновится, пока не сыщется динамит, который кто-то ухитрился где-то спрятать.

А допросы все продолжались. По-прежнему заключенных выводили поодиночке из карцеров и приволакивали или приносили на носилках обратно. От них мы узнали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми, совсем обессилив, начали сменять друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой допрашивал. А спать им приходилось, не раздеваясь, в той самой комнате, в которой сильных, здоровых мужчин одного за другим превращали в калек.

И час за часом во мраке карцеров рос леденивший нас ужас. О, поверьте мне, ибо я знаю: быть повешенным – это пустяк по сравнению с теми страданиями, которым может подвергаться человек при жизни – и все же продолжать жить. Я сам наравне с остальными заключенными терпел нечеловеческую боль и муки жажды. Но мои страдания усиливались еще тем, что я не был равнодушен к страданиям других. Два года назад я попал в категорию «неисправимых», и страдания закалили мои нервы и мозг. Сильный человек, когда он сломлен, представляет собой страшное зрелище. А вокруг меня находилось сорок сильных мужчин, тело и дух которых были сломлены. Вопли изнемогавших от жажды людей не умолкали, и все это вместе напоминало сумасшедший дом: крики, стоны, бормотания, горячечный бред...

Вы поняли, что произошло? Нас погубила наша клятва говорить только правду. Когда сорок человек с полным единодушием стали утверждать одно и то же, начальник тюрьмы и капитан Джеми сделали из этого один-единственный вывод: наши показания – это хорошо затверженная ложь, которую каждый из сорока повторяет, как попугай.

Надо признать, что положение тюремного начальства тоже по-своему было отчаянным. Как я узнал впоследствии, срочно по телеграфу было созвано специальное совещание тюремного управления, и в тюрьму прибыло два отряда милиции штата.

Стояла зима, а зимой даже в Калифорнии мороз бывает порой весьма жесток. В карцерах заключенным не полагается даже одеял. Поверьте, избитому в кровь человеку очень холодно лежать на заиндевевшем каменном полу. А воду они нам в конце концов дали. Осыпая нас руганью и насмешками, надзиратели приволокли пожарные шланги и часами хлестали по карцерам сильной струей воды, хлестали до тех пор, пока не разбередили заново

все наши раны. Вода доходила нам уже до колен, и если раньше мы бредили водой, молили о воде, то теперь мы неистовствовали, требуя, чтобы нас перестали поливать водой.

Я умолчу о том, что происходило в карцерах дальше. Замечу мимоходом только, что ни один из сорока пожизненно заключенных не стал уже прежним человеком. К Луиджи Поладзо так и не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж мало-помалу свихнулся и примерно через год тоже был переведен в отделение для умалишенных. О да, и некоторые другие последовали за Ходжем и Поладзо! А кое у кого здоровье было настолько расшатано, что тюремный туберкулез быстро свел их в могилу. В течение последующих шести лет умерло десять человек из сорока.

После пяти лет, проведенных в одиночном заключении, когда меня везли из тюрьмы Сен-Квентин на суд, я увидел Брамсея Джека. Не сказать, чтобы я мог разглядеть много. Впервые за пять лет выйдя из мрака на яркий солнечный свет, я был слеп, как летучая мышь, но все же при виде Брамсея Джека у меня заныло сердце. Я заметил его, когда шел через тюремный двор. Волосы у него совсем побелели. Еще молодой по годам, он стал стариком. Грудь у него ввалилась, щеки запали, руки тряслись, как у паралитика. Он еле ковылял и все время спотыкался. Когда он узнал меня, на глаза у него навернулись слезы: ведь и я превратился из человека в жалкую развалину. Мой вес едва достигал восьмидесяти семи фунтов. Мои поседевшие волосы отросли за пять лет, как грива. Усы и борода тоже основательно отросли за эти годы. И я, как и Джек, едва ковылял и спотыкался, и надзиратели поддерживали меня, пока я брел через залитый солнцем небольшой тюремный двор. Мы с Брамселем Джеком уставились друг на друга, и каждый из нас узнал в изуродованном подобии человека товарища по несчастью.

Люди, подобные Брамселю Джеку, всегда пользуются некоторыми привилегиями даже в тюрьме, и поэтому он позволил себе некоторое нарушение тюремных правил: хриплым, дрожащим голосом он заговорил со мной.

– Ты молодец, Стэндинг, – прохрипел он. – Так они от тебя ничего и не узнали.

– Но я ничего и не знал, Джек, – прошептал я в ответ. Волей-неволей я вынужден был шептать, ибо, промолчав пять лет, почти разучился говорить. – Мне кажется, этого динамита никогда и не было вовсе.

– Вот-вот, – закивал он, словно ребенок. – Стой на своем. Не говори им ничего. Ты молодец. Я крепко уважаю тебя, Стэндинг. Ты умеешь держать язык за зубами.

И тут тюремщики увели меня, и больше я никогда не видел Брамсея Джека. Было совершенно очевидно, что даже он уверовал в конце концов в эту сказку о динамите.

Трижды вызывало меня к себе тюремное начальство и поочередно то запугивало, то утешивало. Мне представили на выбор две возможности: если я открою, где находится динамит, я получу самое легкое наказание – тридцать дней в карцере, а затем буду назначен старостой тюремной библиотеки. Если же я предпочту упорствовать и не укажу, где хранится динамит, то останусь в одиночке на весь срок заключения. Ну, а поскольку я был приговорен к пожизненному заключению, это означало пожизненное заключение в одиночке.

О нет! Калифорния – цивилизованная страна. Ничего подобного вы не обнаружите в своде законов этого штата. Это – небывалое, неслыханно жестокое наказание, и ни одно современное государство не пожелает нести ответственность за такой закон. Тем не менее я уже третий человек в истории Калифорнии, который был присужден к одиночному тюремному заключению пожизненно. Другие два – это Джек Опенхеймер и Эд Моррел. Я скоро расскажу вам о них, ибо мне пришлось гнить с ними бок о бок в безмолвии одиночных камер.

И еще вот что. Мои тюремщики намерены в скором времени вывести меня из тюрьмы и повесить... Нет, нет, не за убийство профессора Хаскелла. За это я был приговорен к пожизненному заключению. Они собираются вывести меня из тюрьмы и повесить, потому что я

напал на надзирателя. А это уже не просто нарушение тюремной дисциплины. На это уже существует закон, занимающий свое место в уголовном кодексе.

Кажется, я расквасил ему нос. Я не видел, шла ли у него носом кровь, но свидетели утверждают, что шла. Звали этого человека Сэрстон. Он был надзирателем в тюрьме Сен-Квентин, отличался отменным здоровьем и весил сто семьдесят фунтов. Я был слеп, как летучая мышь, весил меньше девяноста фунтов и так долго пробыл в узкой камере, замурованный между четырьмя стенами, что, очутившись на открытом пространстве, опьянел, и у меня закружилась голова. Несомненно, это был самый типичный, клинически чистый случай начальной стадии агорафобии, и я убедился в этом в тот же день, когда вырвался из одиночки и ударил тюремщика Сэрстона в нос.

Я расквасил ему нос, когда он преградил мне дорогу и попытался меня схватить. И вот теперь меня собираются повесить. По закону штата Калифорния, присужденный к пожизненному заключению преступник вроде меня, нанося удар надзирателю вроде Сэрстона, совершает уголовное деяние, караемое смертной казнью. Сэрстон, верно, уже через полчаса забыл, что у него шла из носа кровь, но тем не менее меня за это повесят!

А теперь послушайте! В моем случае этот закон применен *ex post facto*¹. Когда я убил профессора Хаскелла, такого закона еще не существовало. Он был принят уже после того, как я был приговорен к пожизненному заключению. И в этом-то вся суть: вынесенный мне приговор поставил меня в положение, при котором я мог подпасть под действие закона, еще не принятого. Ведь меня могут повесить за нападение на надзирателя Сэрстона только благодаря моему статусу пожизненно заключенного. Совершенно ясно, что это – решение *ex post facto* и, следовательно, противоречит конституции.

Но какое значение имеет конституция для судей, если им нужно разделаться с небезызвестным профессором Даррелом Стэндингом? К тому же казнь моя отнюдь не будет беспрецедентной. Как известно всем, кто читает газеты, год назад здесь же, в Фолсемской тюрьме, за такое точно же преступление был повешен Джек Оппенгеймер... Только оскорбление действием выразилось тогда не в том, что Оппенгеймер расквасил нос тюремщику: он невзначай порезал одного из заключенных столовым ножом.

Странная это штука – жизнь, и человеческие поступки, и законы, и хитросплетения судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере, в Коридоре Убийц, в которой сидел Джек Оппенгеймер, пока его не вывели отсюда и не сделали с ним то, что собираются сделать со мной.

Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом. И я возвращаюсь к моему повествованию. Тюремное начальство предложило сделать выбор: если я укажу, где спрятан динамит, то буду назначен старостой тюремной библиотеки и освобожден от работы в ткацкой мастерской. Если же я откажусь сообщить его местонахождение, то до конца дней своих останусь в одиночке.

Мне дали двадцать четыре часа смирительной рубашки, чтобы я мог поразмыслить над их ультиматумом. Затем я вторично предстал перед тюремным начальством. Что я мог сделать? Я же не мог указать им, где хранится динамит, когда никакого динамита не существовало. Я так им и сказал, а они сказали мне, что я лгу. Они сказали, что я – тяжелый случай, опасный преступник, выродок, один на столетие. И они сказали мне еще много кое-чего, а затем отправили меня обратно в одиночку. Меня поместили в одиночку номер один. В номере пятом сидел Эд Моррел. В номере двенадцатом находился Джек Оппенгеймер. И он сидел там уже десять лет. А Эд Моррел сидел первый год. Он был приговорен к пятидесяти годам заключения. Джек Оппенгеймер был осужден пожизненно, так же, как и я. Казалось бы, всем нам троим предстоит пробыть там немалый срок. Однако прошло всего шесть лет,

¹ Задним числом (*лат.*).

и уже никого из нас там нет. Джека Оппенгеймера повесили. Эд Моррел стал главным старостой Сен-Квентина и совсем на днях был помилован и выпущен на свободу. А я здесь, в Фолсемской тюрьме, жду, когда судья Морган в положенное время назначит день, который станет моим последним днем.

Дураки! Словно они могут лишить меня моего бессмертия с помощью своего неуклюжего приспособления из веревки и деревянного помоста! О нет, еще бесчисленное количество столетий я буду бродить снова и снова по этой прекрасной земле! И не бесплотным духом буду я – я буду владыкой и пахарем, ученым и невеждой, буду восседать на троне и стонать под ярмом.

Глава V

Очень тяжело и тоскливо было мне первые недели в одиночке, и часы тянулись нескончаемо долго. Ход времени отмечался сменой дня и ночи, сменой дежурных надзирателей. Днем становилось лишь чуть-чуть светлее, но и это было лучше непроглядной ночной тьмы. В одиночке день – всего лишь вязкий тусклый сумрак, с трудом просачивающийся снаружи, оттуда, где ликует солнечный свет.

Никогда не бывает настолько светло, чтобы можно было читать. Да, кстати сказать, и читать-то нечего. Остается только лежать и думать, думать. А я был приговорен к пожизненному заключению, и это означало, что мне предстоит – если только я не сумею сотворить чудо, создав тридцать пять фунтов динамита из ничего, – все оставшиеся годы жизни провести в безмолвии и мраке.

Постелью мне служил жидкий, набитый гнилой соломой тюфяк, брошенный на каменный пол. Укрывался я ветхим, грязным одеялом. Больше в камере не было ничего – ни стола, ни стула – ничего, кроме этой тонкой соломенной подстилки и тонкого, вытертого от времени одеяла. А я привык мало спать и много думать. В одиночном заключении человек, оставленный наедине со своими мыслями, надоедает самому себе до тошноты, и тогда единственным спасением от самого себя служит сон. Годами я спал в среднем не больше пяти часов в сутки. Теперь я стал культивировать сон. Я сделал из этого науку. Я научился спать десять, затем двенадцать и, наконец, даже четырнадцать-пятнадцать часов в сутки. Но это был предел, и все остальное время я волей-неволей был вынужден лежать, бодрствовать и думать, думать. А для человека, наделенного живым умом и фантазией, это прямой путь к безумию.

Я пускался на всяческие ухищрения, чтобы хоть чем-то заполнить часы моего бодрствования. Я без конца возводил в квадратную и в кубическую степень всевозможные числа, заставляя себя сосредоточиться, и вычислял в уме самые невероятные геометрические прогрессии. Я даже принялся было искать, шутки ради, квадратуру круга... Но поймал себя на том, что начинаю верить в возможность разрешения этой неразрешимой задачи. Тогда, поняв, что это тоже грозит мне потерей рассудка, я отказался от поисков квадратуры круга, хотя, поверьте, это было для меня большой жертвой, так как подобное умственное упражнение великолепно помогало убивать время.

Закрыв глаза и концентрируя внимание, я представлял себе шахматную доску и разыгрывал сам с собой длиннейшие шахматные партии. Но как только я достиг в этом совершенства, игра потеряла для меня интерес. Это было только времяпрепровождение и ничего больше, ибо подлинная борьба невозможна, если игрок сражается сам с собой. Я пытался расщепить свою личность на две и противопоставить их друг другу, но все попытки были тщетны: я всегда оставался лишь одним игроком, играющим за двоих, и не мог обдумать не только целого плана игры, но даже ни единого хода без того, чтобы это не стало немедленно известно партнеру.

И время тянулось медленно, мучительно тоскливо. Я играл с мухами, с обыкновенными мухами, которые проникали в камеру тем же путем, как и тусклый серый свет, и убедился, что им доступно чувство азарта. Например, лежа на полу своей камеры, я мысленно проводил на стене, футах в трех от пола, черту. Пока мухи садились на стену над этой чертой, я их не трогал. Но как только они залетали ниже черты, я пытался их поймать. Я был осторожен, старался не повредить им крылышки, и вскоре они уже знали ничуть не хуже меня, где проходит воображаемая черта. Когда им хотелось поиграть, они садились на стену ниже черты, и случалось, что какая-нибудь муха развлекалась со мной подобным образом в течение целого часа. Утомившись, она перелетала в безопасную зону и отдыхала там.

Среди доброго десятка мух, живших в моей камере, имелась только одна муха, которая не хотела принимать участие в этом развлечении. Она упорно отказывалась играть и, поняв, что садиться на стену ниже определенного места опасно, старательно избегала залетать туда. Эта муха была угрюмым, разочарованным созданием. Как сказали бы у нас в тюрьме, по-видимому, у нее были свои счеты с миром. И с другими мухами она тоже никогда не играла. Но это была сильная, здоровая муха. Я достаточно долго за ней наблюдал и имел возможность убедиться в этом. Ее отвращение к игре было свойством характера, а не физических особенностей.

Поверьте, я хорошо знал всех моих мух. Меня поражало бесконечное множество различий, существовавших между ними. О да, каждая муха обладала ярко выраженной индивидуальностью и отличалась от других не только размерами, окраской, силой и быстротой полета, не только манерой летать и особыми уловками в игре, не только своими прыжками и подскоками, не только тем, как она кружилась и кидалась сначала в одну сторону, затем в другую и, внезапно, на какую-то долю секунды, касалась опасной части стены или делала вид, что она ее касается, чтобы тут же взлететь и опуститься где-нибудь в другом месте, нет, – все они резко отличались друг от друга сообразительностью и характером, что проявлялось в довольно тонких психологических нюансах.

Я наблюдал нервных мух и флегматичных мух. Была одна муха-недоросток, которая порой впадала в настоящую ярость, то разгневавшись на меня, то – на своих товарищей. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как на зеленом лужку, резвясь и брыкаясь от избытка бьющей через край силы и молодого задора, скачет, словно одержимый, жеребенок или теленок? Так вот, у меня была одна такая муха – самая заядлая любительница поиграть, – и когда ей удавалось раза три-четыре подряд безнаказанно коснуться запрещенной стены и ускользнуть от бархатно-вкрадчивого взмаха моей руки, она приходила в такой неистовый восторг и ликование, так торжествовала свою победу надо мной, что принималась с бешеной скоростью кружиться у меня над головой то в одном, то в другом направлении, но все время по одному и тому же кругу.

Более того, я всегда отлично знал наперед, когда та или иная муха решит включиться в игру. Я не стану утомлять ваше внимание, описывая в мельчайших подробностях то, что мне приходилось наблюдать, хотя именно эти подробности и помогли мне не сойти с ума в первый период моего заключения в одиночке. Но об одном случае я должен все-таки рассказать вам, – он мне врезался в память. Как-то раз та самая муха-мизантроп, которая отличалась угрюмостью нрава и никогда не вступала в игру, села по забывчивости на запрещенный участок стены и немедленно попала ко мне в кулак. Так, вообразите, она злилась после этого по крайней мере час.

А часы в одиночке тянулись томительно: их нельзя было ни убить, ни скоротать с помощью мух, хотя бы даже самых умных. Ибо в конце концов мухи – это только мухи, а я был человек, наделенный человеческим интеллектом, активным и деятельным умом, со множеством научных и всяких других познаний, умом всегда жаждущим занятия, а занять его было нечем, и мозг мой изнемогал под бременем пустых раздумий. Я вспоминал виноградники Асти, где прошлым летом проводил опыты во время каникул, ища способ определять содержание моносахаридов в винограде и виноградных лозах. Я как раз близился к завершению этой серии опытов. «Продолжает ли их кто-нибудь? – думал я. – А если продолжает, то с какими результатами?»

Поймите, мир для меня умер. Никаких вестей извне не просачивалось в мою темницу. Развитие науки шло вперед быстрыми шагами, а ведь меня интересовали тысячи разнообразных проблем. Взять хотя бы мою теорию гидролиза казеина с помощью трипсика, которую профессор Уолтер проверял в своей лаборатории. А профессор Шламнер сотрудничал со мной, стараясь обнаружить фитостерин в смеси животного и растительного жиров. Эта

работа, несомненно, ведется и сейчас, но каковы ее результаты? Мысль о том, что где-то здесь, близко, за стенами тюрьмы, научная жизнь кипит ключом, а я не только не могу принять в ней участие, но даже ничего о ней не узнаю, сводила меня с ума. Они работали, а я лежал на полу в своей камере и играл с мухами.

Однако тишина одиночки не всегда бывала полной. С первых дней моего заключения мне порой приходилось слышать слабые, глухие постукивания, раздававшиеся в самое неопределенное время. А откуда-то очень издалека доносились ответные постукивания, еще более глухие, еще более слабые. Почти всегда эти постукивания прерывались окриками надзирателей. А иной раз, когда перестукивания продолжали звучать слишком упорно, дежурные надзиратели призывали себе на подмогу других, и по долетавшему до меня шуму я понимал, что на кого-то надевают смирительную рубашку.

Все было ясно, как божий день. Я знал, так же как знал это каждый узник тюрьмы Сен-Квентин, что двое заключенных, сидевших в одиночках, были Эд Моррел и Джек Оппенхеймер. И я понимал, что это они перестукивались друг с другом и понесли за это соответствующую кару.

Я ни секунды не сомневался, что код, которым они пользуются, должен быть чрезвычайно прост, и тем не менее потратил впустую немало усилий, пытаясь его понять. Он не мог не быть прост, однако мне никак не удавалось его разгадать, сколько я ни бился. Но когда в конце концов я все же разгадал его, он и в самом деле оказался чрезвычайно простым, причем проще всего было именно то, что сбивало меня с толку. Не только каждый день меняли они исходную букву кода, – нет, они меняли ее каждый раз после любой паузы, наступавшей в перестукиваниях, а другой раз так даже и в середине перестукивания.

И вот настал день, когда я поймал начало кода, и тотчас же расшифровал две совершенно ясных и четких фразы. А в следующий раз, когда они опять начали перестукиваться, я снова не мог понять ни единого слова. Но зато в тот первый раз!..

«Послушай... Эд... что... бы... ты... отдал... сейчас... за... щепотку... табака... и... клочок... бумаги?» – спрашивал тот, чей стук доносился издалека.

Я чуть не вскрикнул от радости: вот она – ниточка, связующая меня с товарищами! Вот оно – общение! Я жадно вслушивался, и вскоре до меня донесся более близкий ответный стук. По-видимому, стучал Эд Моррел:

«За... пятицентovou... пачку... я... бы... согласился получить... двадцать... часов смирительной рубашки...»

Тут перестукивание было прервано грубым окриком надзирателя:

– Моррел, прекрати!

Со стороны может показаться, что человеку, приговоренному к пожизненному одиночному заключению, уже нечего терять: хуже ведь ничего не может быть, – и потому надзиратель бессилен заставить его подчиниться и перестать стучать. Но есть еще смирительная рубашка. Есть еще лишение пищи. Есть еще пытка жаждой. И побои. А узник в своей крохотной камере беспомощен, совершенно беспомощен.

Словом, перестукивание прекратилось, а ночью я услышал его снова и был поставлен в тупик. Они изменили исходную букву кода, как видно, договорившись об этом заранее. Но я уже разгадал его принцип, и через несколько дней, когда они опять начали со знакомой мне буквы, я не стал дожидаться приглашения.

– Приветствую вас, – простучал я.

– Привет, незнакомец, – ответил Моррел.

А Оппенхеймер добавил:

– Добро пожаловать в наш город.

Они поинтересовались, кто я такой, на какой срок приговорен к одиночному заключению и за что. Но все эти вопросы я сначала оставил без внимания, торопясь выяснить,

по какой системе они меняют исходную букву кода. После того как мне это объяснили, мы немного побеседовали. Это был знаменательный день – ведь два пожизненно заключенных неожиданно приобрели еще одного товарища по несчастью. Правда, вначале они приняли меня в свою компанию лишь, так сказать, на пробу. Потом они признались мне, что опасались, как бы я не оказался шпиком, подосланным к ним, чтобы подстроить какое-нибудь ложное обвинение. С Оппенгеймером это однажды уже проделали, и он дорого заплатил за свою доверчивость, которой воспользовался шпик, посаженный к нему начальником тюрьмы Азертоном.

К моему удивлению, – я чуть не сказал, к моему восторгу, – оба мои товарища по заключению уже слышали обо мне, как о «неисправимом». Даже в эту могилу, где Оппенгеймер томился десятый год, проникла моя слава или, выражаясь скромнее, известность.

Мне было что порассказать им о событиях, происходивших в тюрьме и за ее стенами. Они не слышали ничего о якобы готовящемся побеге сорока пожизненно заключенных, о поисках несуществующего динамита, словом, о той предательской западне, в которую заманил нас Сесил Уинвуд. Они сказали мне, что в одиночки просачиваются порой кое-какие слухи через надзирателей, но что за последние два месяца никаких вестей к ним сюда не долетало. Надзиратели, дежурившие все это время в одиночках, принадлежали к числу наиболее тупых и злобных.

В тот день каждый надзиратель, заступавший на дежурство, изливал на нас потоки брани за наше перестукивание. Но мы не могли удержаться. К двум заживо погребенным внезапно прибавился третий, и нам слишком многое нужно было сказать друг другу, а наша беседа, и без того медленная, ползла совсем уж черепашьям шагом, так как у меня еще не было опыта в таком способе общения между людьми.

– Подожди, ночью выйдет на дежурство Конопатый, – выстукивал мне Моррел. – Он почти все дежурство храпит, и мы тогда сможем отвести душу.

Да, мы наговорились всласть в ту ночь! Ни на секунду не сомкнули мы глаз. Конопатый Джонс был желчным и злым человеком, невзирая на свою толщину, но мы благословляли ее, так как она заставляла его дремать украдкой. И все же наше неумолчное перестукивание бесило Конопатого, так как тревожило его сон, и он снова и снова орал на нас. Так же проклинали нас и другие ночные дежурные. А наутро все они сообщили начальству, что заключенные перестукивались от зари до зари, и нам пришлось расплачиваться за наш маленький праздник: в девять часов утра появился капитан Джеми в сопровождении нескольких подручных, и нас зашнуровали в смирительные рубашки. Двадцать четыре часа подряд – до девяти часов следующего утра мы без пищи и воды валялись в смирительных рубашках на каменном полу, заплатив такой ценой за то, что позволили себе поговорить друг с другом.

О да, наши тюремщики были настоящие звери. И они так обращались с нами, что мы, для того чтобы выжить, должны были ожесточиться и тоже превратиться в зверей. От грубой работы грубеют руки. От жестоких тюремщиков ожесточаются заключенные. Мы продолжали перестукиваться, и нас в наказание то и дело затыгивали в смирительные рубашки. Лучшим временем суток была ночь, и порой, когда вместо наших постоянных мучителей на дежурство случайно выходил кто-нибудь другой, мы перестукивались всю ночь.

Для нас, живших в вечном мраке, дни и ночи сливались в одно. Спать мы могли в любое время, перестукиваться – только от случая к случаю. Мы пересказали друг другу почти всю нашу жизнь, и долгими часами Моррел и я лежали молча, прислушиваясь к доносившимся издали слабым, глухим звукам. Это Оппенгеймер медленно, слово за словом выстукивал историю своей жизни – рассказывал о детстве, проведенном в трущобах Сан-Франциско; о бандитской шайке, заменившей ему школу; о знакомстве со всеми видами злодеяний и порока; о том, как в четырнадцать лет он был мальчиком на побегушках в квартале красных

фонарей; о том, как впервые попал в лапы полиции; о кражах и грабежах, и снова о кражах и грабежах и, наконец, о предательстве товарища и о кровавом расчете в тюремных стенах.

Джек Оппенгеймер был прозван «Человек-Тигр». Какой-то досужий репортер пустил в ход эту лихую кличку, и ей суждено было надолго пережить человека, который ее носил. Однако я видел в Джеке Оппенгеймере черты истинной человечности. Он был надежный и верный друг. Он никогда никого не выдавал, хотя не раз нес за это наказание. Он был отважен. Он был терпелив. Он был способен на самопожертвование. Я мог бы рассказать об этом целую историю, но у меня нет времени. И он страстно ненавидел несправедливость. Когда Джек Оппенгеймер совершил в тюрьме убийство, им руководило одно – обостренное чувство справедливости. И у него был великолепный ум. Ни пожизненное заключение в тюремных стенах, ни десять лет, проведенных в одиночной камере, не затуманили его рассудка.

Моррел был тоже добрый, верный товарищ и тоже обладал недюжинным умом. В сущности, трое самых умных людей в тюрьме Сен-Квентин (стоя одной ногой в могиле, я имею право заявить это, не боясь, что меня обвинят в нескромности) гнили бок о бок в одиночных камерах. Теперь, оглядываясь назад в конце своего жизненного пути и вспоминая все, чему научила меня тюрьма, я прихожу к заключению, что сила и глубина ума несовместимы с покорностью. Глупые люди, трусливые люди, люди, не наделенные бесстрашием, неистребимым чувством товарищества и страстной тягой к правде и справедливости, – вот те, из кого создаются образцовые заключенные. Я благодарю всех богов за то, что Джек Оппенгеймер, Эд Моррел и я никогда не были образцовыми заключенными.

Глава VI

Ребенок, который определил память, как «то, чем забывают», был не так уж не прав. Умение забывать – это свойство здорового мозга. Неотвязные воспоминания означают манию, безумие. И в одиночной камере, где меня осаждали неотвязные воспоминания, я искал способа забыть. Но, забавляясь с мухами, играя сам с собой в шахматы, перестукиваясь с товарищами, я находил лишь частичное забвение, а искал я полного.

Оставались детские воспоминания об иных временах и об иных странах – «чуть брезжущие отблески сияния», как писал Вордсворт. Неужели ребенок, становясь взрослым, утрачивает эти воспоминания безвозвратно? Неужели они полностью стираются? Или память об иных временах и об иных странах все еще дремлет, погребенная в клеточках мозга, как я был погребен в одиночке тюрьмы Сен-Квентин?

Известны случаи, когда люди, приговоренные к пожизненному одиночному заключению, получали помилование и, словно воскреснув, вновь любовались солнечным светом. Так почему же не может воскреснуть и детская память о другой жизни?

Но как воскресить ее? Забыв настоящее и все, что легло между этим настоящим и детством, решил я.

А как же достигнуть этого? С помощью гипноза. Если с помощью гипноза мне удастся усыпить сознание и разбудить подсознание, тогда победа будет одержана, тогда все тюремные двери в мозгу распахнутся и узники выйдут на свободу, к солнцу.

Так я рассуждал, а к чему это привело, вы узнаете далее. Но сперва я хочу рассказать про мои собственные детские воспоминания об иных временах. Я упивался тогда отблесками сияния других жизней. Меня, как и всех детей, мучила память, кем я был прежде. Происходило это в дни, когда я только становился самим собой, и присущие мне в иных жизнях характеры еще не затвердели и не выкристаллизовались в новую личность, которая несколько коротких лет звалась Даррелом Стэндингом.

Я расскажу только об одном эпизоде. Случилось это в Миннесоте на нашей старой ферме. Мне еще не исполнилось шести лет. В нашем доме остановился переночевать вернувшийся из Китая миссионер, которого Миссионерский совет послал собирать пожертвования среди фермеров. То, о чем я хочу рассказать, произошло на кухне после ужина, когда мать укладывала меня спать, а миссионер показывал нам фотографии Святой земли.

Я, разумеется, давно забыл бы то, о чем собираюсь сообщить вам, если бы впоследствии не слышал множество раз, как мой отец рассказывал об этом удивленным слушателям.

Увидев одну из фотографий, я вскрикнул и стал ее рассматривать – сначала жадно, а потом разочарованно. Сперва она показалась мне такой знакомой, словно это была фотография отцовского сарая, а потом все вдруг стало чужим. Однако я продолжал ее рассматривать, и изображение снова стало щемяще-знакомым.

– Это Башня Давида, – объяснил миссионер, обращаясь к моей матери.

– Нет! – убежденно воскликнул я.

– По-твоему, она называется не так? – спросил миссионер.

Я кивнул.

– Ну, а как же она называется, милый мальчик?

– Она называется... – хотел я ответить и запнулся. – Я забыл.

– Она стала какой-то не такой, – добавил я, помолчав. – Ее всю перестроили.

Тут миссионер выбрал из пачки другую фотографию и протянул ее матери.

– Я побывал здесь полгода назад, миссис Стэндинг, – сказал он и, указав пальцем, добавил: – Это Яффские ворота, через которые я прошел прямо к Башне Давида – она вот тут,

на заднем плане, где прижат мой палец. В этом согласны все ученые-богословы. Эль Кулах называл ее...

Тут я опять перебил его и, показав на развалины в левом углу фотографии, воскликнул:

– Она где-то вот тут! Так, как вы, ее называли евреи. А мы называли ее по-другому.

Мы называли ее... я забыл.

– Нет, вы только его послушайте! – засмеялся отец. – Можно подумать, что он бывал там!

Я уверенно кивнул, так как не сомневался, что мне доводилось бывать в тех местах, хотя они как-то странно изменились. Отец расхохотался еще громче, а миссионер решил, что я смеюсь над ним. Он показал мне еще одну фотографию: унылая пустыня, без единого деревца или травинки, прорезанная ложиной с пологими каменистыми склонами. Неподалеку виднелась кучка жалких лачуг с плоскими крышами.

– Ну, а это что такое, милый мальчик? – осведомился миссионер.

И я вспомнил!

– Самария! – ответил я, не задумываясь.

Отец захлопал в ладоши, мать совсем растерялась, не понимая, что на меня нашло, а миссионер как будто рассердился.

– Мальчик не ошибся, – сказал он. – Эта деревня действительно находится в Самарии. Я проезжал через нее. Поэтому я и купил эту фотографию. А мальчик, несомненно, уже видел другие такие фотографии.

Но и отец и мать стали уверять его, что этого быть не может.

– Только на картинке она не такая, – расхрабрился я, а моя память в это время деятельно восстанавливала все исчезнувшие особенности ландшафта. Общий его характер остался прежним, так же, как и очертания далеких холмов. Я начал вслух перечислять изменения, тыча пальцем.

– Дома были вот здесь, справа. А здесь были деревья, много деревьев, много травы и много коз. Я, как сейчас, их вижу. Коз пасут двое мальчиков. А вот тут много людей, и все они идут за одним человеком. А вон там, – я прижал палец к тому месту, где перед этим обозначил деревню, – а вон там много бродяг. Они одеты в лохмотья. И они больны. У них все лица, руки и ноги в болячках.

– Он слышал об этом в церкви или где-нибудь еще... Евангелие от Луки, исцеление прокаженных, – сказал миссионер с довольной улыбкой. – А сколько было бродяг, милый мальчик?

В пять лет я уже умел считать до ста и, мысленно их пересчитав, сказал:

– Их десять. Они машут руками и кричат на остальных людей.

– Но не подходят к ним? – последовал вопрос.

Я покачал головой.

– Нет, они стоят на месте и вопят, словно с ними стряслась беда.

– Продолжай, – настойчиво произнес миссионер. – Что еще происходит? Что делает человек, который, как ты сказал, идет во главе толпы?

– Они все остановились, а он что-то говорит больным бродягам. И мальчики с козами тоже остановились посмотреть. Все смотрят.

– А что дальше?

– Ничего. Больные бродяги уходят в деревню. Они больше не кричат, и вид у них совсем здоровый. А я сижу на моем коне и смотрю.

Тут все трое моих слушателей рассмеялись.

– И я совсем большой! – крикнул я сердито. – И у меня есть длинный меч.

– Это десять прокаженных, которых Христос исцелил вблизи Иерихона на пути в Иерусалим, – объяснил миссионер моим родителям. – Мальчик был на представлении с волшебным фонарем и видел диапозитивы знаменитых картин.

Но и отец и мать были совершенно уверены, что я никогда в жизни не видел волшебного фонаря.

– Покажите ему еще что-нибудь, – попросил отец.

– Тут все не так, – пожаловался я, разглядывая фотографию, которую протянул мне миссионер. – Только вон этот холм на месте и другие холмы. Вот тут должна бы проходить дорога. А там – сады и дома за высокими каменными изгородями. А с другой стороны должны быть расселины в скалах, где они хоронили своих покойников. Видите это место? Тут они кидали камнями в людей, пока не забивали их до смерти. Сам я этого не видел. Мне об этом только рассказывали.

– А что это за холм? – спросил миссионер, показывая на возвышенность в центре изображения, ради которой, видимо, и делался этот снимок. – Ты знаешь, как он называется?

Я покачал головой.

– Он никак не называется. Там убивали людей. Я сам видел много раз.

– То, что он говорит, теперь согласуется с мнением большинства авторитетов, – удовлетворенно заявил миссионер. – Этот холм – Голгофа, «Холм черепов», а может быть, ему дали такое название потому, что он напоминает по форме череп. Вот посмотрите, сходство действительно есть. Здесь распяли... – Он умолк и повернулся ко мне: – Кого они распяли тут, юный ученый? Скажи нам, что еще ты видишь?

Да, я видел – отец рассказывал, что глаза у меня так и лезли на лоб, – но я упрямо помотал головой и пробурчал:

– Я вам не скажу, потому что вы надо мной смеетесь. Я видел, как там убивали много людей. Их прибивали гвоздями долго-долго... Я видел, да только не скажу. Я никогда не вру. Вот спросите у моей мамы, вру ли я. Или у отца. Да он бы за вранье шкуру с меня спустил! Вот спросите его.

И больше миссионеру ничего не удалось от меня добиться, хотя он соблазнял меня фотографиями, от которых моя голова шла кругом: столько в ней теснилось картин-воспоминаний; слова сами рвались на язык, но я упрямо проглатывал их и молчал.

– Из него, надо полагать, выйдет хороший знаток Священного Писания, – сказал миссионер моим родителям, когда я, пожелав им всем спокойной ночи, ушел спать. – А может быть, благодаря такому богатому воображению он станет известным писателем.

Это доказывает, как ошибочны бывают пророчества. Вот сейчас я сижу в камере Коридора Убийц и пишу эти строки, ожидая своего конца, или, вернее, конца Даррела Стэндинга, ибо его скоро выведут отсюда и, затянув на его шее петлю, попробуют погрузить во мрак; и я улыбаюсь про себя. Я не стал ни знатоком Священного Писания, ни модным романистом. Наоборот, перед тем, как меня на пять лет заживо похоронили в одиночке, я занимался тем, о чем миссионер даже не подумал: я был знатоком сельского хозяйства, профессором агрономии, специалистом по снижению непроизводительных затрат труда, экспертом интенсивного сельского хозяйства, ученым-исследователем, работавшим в лабораториях, где абсолютным законом являются точность и проверенные под микроскопом факты.

И вот я сижу жарким, летним днем здесь, в Коридоре Убийц, и перестаю писать свои воспоминания, чтобы послушать успокоительное жужжание мух в сонном воздухе и уловить обрывки тихого разговора, который ведут между собой Джозеф Джексон – убийца-негр в камере справа, и Бамбеччо – убийца-итальянец в камере слева. От зарешеченной двери до зарешеченной двери, поперек моей зарешеченной двери, они обмениваются мнениями относительно обеззараживающих и целительных свойств табачной жвачки для рваных ран.

И, глядя на авторучку, зажатую в моей застывшей руке, я вспоминаю другие мои руки, которые в давно прошедшие времена сжимали кисточку, гусиное перо и стиль, и успеваю мысленно спросить себя, приходилось ли этому миссионеру, когда он был малышом, ловить чуть брезжущие отблески сияния и обретать на мгновение радость прежних дней скитаний среди звезд.

Но вернемся к дням, которые я проводил в одиночке, когда уже постиг код перестукивания, но все же находил часы, пока бодрствовало сознание, невыносимо долгими. С помощью самогипноза, к которому я прибегал не без успеха, я научился погружать свое сознание в сон и пробуждать, высвобождать подсознание. Но оказалось, что оно не знает и не признает никаких законов. Оно блуждало по кошмарам, где не было никакой связи между событиями, временем и личностью. Я гипнотизировал себя чрезвычайно простым способом. Усевшись по-турецки на свой тюфяк, я начинал напряженно вглядываться в обломок желтой соломинки, который прилепил к стене камеры вблизи от двери, где было светлее всего. Я смотрел на эту яркую точку, приблизив глаза почти вплотную к ней и заводя их кверху, чтобы напряжение было сильнее. Одновременно я ослаблял свою волю и отдавался головокружению, которое неизменно меня охватывало. И когда я чувствовал, что вот-вот потеряю равновесие и опрокинусь назад, я закрывал глаза и в тупом оцепенении падал на тюфяк. А затем полчаса или десять минут, а то и целый час нелепо метался по складам памяти о моих вечных возвращениях на землю, но эпохи и страны сменялись слишком быстро. Пробуждаясь, я сознавал, что весь этот пестрый и нелепый калейдоскоп был связан воедино личностью Даррела Стэндинга. Но и только. Мне ни разу не удалось полностью прожить какое-то единое существование, не удалось уловить в своем сознании единую точку совпадения времени и пространства. Мои сны, если их можно назвать снами, были лишены системы и логики.

Вот один пример таких моих блужданий. За короткий промежуток пятнадцатиминутной власти подсознания я ползал и ревел в тине первобытного мира и сидел рядом с Хаасом в аэроплане, разрывая воздух двадцатого века. Очнувшись, я вспомнил, что я, Даррел Стэндинг, за год до моего заключения в Сен-Квентин действительно летал с Хаасом над Тихим океаном в Санта-Монике. Очнувшись, я не мог вспомнить, когда я ползал и ревел в древней тине. Тем не менее я пришел к заключению, что каким-то образом я действительно вспомнил давнее-давнее прошлое и что оно было реальностью для какого-то предыдущего существования, когда я был еще не Дарделом Стэндингом, а другим человеком или животным – тем, что ползало и ревели. Просто одно событие было гораздо дальше от меня во времени. Но оба они действительно произошли, иначе как бы я мог о них помнить?

О, эта смена ярких образов и бурных жизней! На несколько минут высвободив свое подсознание, я успевал побывать в королевских дворцах, сидеть там выше соли и ниже соли, успевал стать шутком, дружинником, писцом и монахом; я успевал стать правителем, восседавшим во главе стола, – моя светская власть опиралась на мой меч, на толщину стен моего замка и на многочисленность моих дружинников, но и духовная власть принадлежала мне, потому что священники и жирные аббаты сидели ниже меня, тянули мое вино и угощались моим жарким.

Я носил железный ошейник раба под холодными небесами и любил принцесс царского дома в полную солнечных запахов тропическую ночь, когда черные невольники разгоняли духоту опахалами из павлиньих перьев, а вдалеке, за фонтанами и пальмами, раздавалось рыканье львов и вопли шакалов. Скорчившись в ледяной пустыне, я грел руки над костром из верблюжьего помета; я лежал ничком у высохшего колодца, в скудной тени спаленной солнцем полыни, и хриплым шепотом просил воды, а вокруг меня на солончаках валялись кости людей и животных, которые когда-то тоже просили воды, а потом умерли.

Я был рулевым на корабле и наемным убийцей, ученым и отшельником, я низко склонялся над рукописными страницами огромных пропыленных фолиантов в тихом полумраке

монастыря, воздвигнутого на высоком холме, а на склонах, под монастырскими стенами крестьяне все еще трудились в виноградниках и среди олив, хотя солнце уже зашло, и пастухи гнали с пастбищ блеющих коз и мычащих коров; да, и я вел вопящие толпы мятежников по мостовой древних, давно забытых городов, разбитой колесницами и лошадиными копытами; торжественно и мрачно я объявлял закон, указывал на серьезность преступления и приговаривал к смерти людей, которые, подобно Даррелу Стэндингу в Фолсеме, нарушили закон.

И с головокружительной высоты марсовой площадки, дрожащей над палубой корабля, я смотрел на пронизанные солнцем воды, где в бирюзовой глубине мерцали кораллы, и проводил корабль в спокойные, зеркальные лагуны, и якоря, гремя, падали близ осененных пальмами пляжей из кораллового песка; и я сражался в давно забытых битвах, когда резня не прекращалась даже с заходом солнца и продолжалась всю ночь под сверкающими звездами, а прохладный ветер с далеких снежных вершин был не в силах охладить пыл битвы; и я снова становился маленьким мальчиком Даррелом Стэндингом, который бродил босиком по напоенным росой весенним лугам миннесотской фермы, кормил покрасневшими от холода руками коров в стойлах, наполненных их клубящимся дыханием, и с боязливым ужасом слушал по воскресеньям проповеди о величии грозного Бога, о Новом Иерусалиме и об адских муках.

Вот какие обрывочные мимолетные видения посещали меня, когда в одиночной камере тюрьмы Сен-Квентин я терял сознание, пристально глядя на ярко блестящий обломок соломинки. Откуда приходили они ко мне? Я ведь не мог создать их из ничего в своей глухой темнице, как не мог создать из ничего тридцать пять фунтов динамита, которых с таким упорством добывались от меня капитан Джеми, начальник тюрьмы Азертон и тюремный совет.

Я, Даррел Стэндинг, родившийся и выросший на ферме в Миннесоте, в прошлом профессор агрономии, «неисправимый» арестант в тюрьме Сен-Квентин, а сейчас приговоренный к смерти человек в Фолсеме. И то, о чем я пишу, то, что я извлек из складов моего подсознания, не принадлежит Даррелу Стэндингу. Я, Даррел Стэндинг, родившийся в Миннесоте и приговоренный к повешению в Калифорнии, никогда не любил царских дочерей в царских дворцах, никогда не дрался врукопашную на качающихся палубах, не тонул в винном погребе корабля, упившись ромом под пьяные крики и предсмертные песни моряков, когда судно билось и трещало на чернозубых рифах и вода журчала над головой, под ногами и повсюду вокруг.

Все это не имеет никакого отношения к жизни Даррела Стэндинга, и все же я, Даррел Стэндинг, нашел все это в тайниках моей памяти, гипнотизируя себя в одиночке Сен-Квентина. Все эти события так же не принадлежали Даррелу Стэндингу, как не принадлежало ему подсказанное фотографией слово «Самария», когда его детские губы произнесли это слово.

Нельзя создать что-нибудь из ничего. Как я не мог создать в одиночке тридцать пять фунтов динамита из ничего, так я не мог создать в одиночке из ничего эти видения времени и пространства, ведь они не имели отношения к жизни Даррела Стэндинга. Все это крылось в глубинах моего сознания, а я только-только начинал находить путь к ним.

Глава VII

В этом-то была вся беда: я знал, что в моем мозгу скрыта сокровищница воспоминаний о других жизнях, но мне удавалось только метаться по этим воспоминаниям, подобно сумасшедшему. У меня была сокровищница, но мне нечем было ее открыть.

Я вспомнил о болезни Стейтона Мозеса – священника, в котором поочередно просыпались личности святого Ипполита, Плотина, Афинодора и друга Эразма Роттердамского по имени Гроцин. А потом, припомнив опыты полковника Дероша, о которых мне довелось прочесть в былые деятельные дни, я почувствовал полную уверенность, что Стейтон Мозес в прежние свои жизни действительно был теми людьми, чьи личности порой, казалось, просыпались в нем. Собственно говоря, они и он были одно. Все они были лишь звеньями вечной цепи возвращений.

Но особенно упорно я старался вспомнить опыты полковника Дероша. Выбирая легко поддающихся гипнозу субъектов, он, по его утверждению, возвращался во времени к их предкам. Он описал свои опыты с Жозефиной, восемнадцатилетней девушкой, жившей в Вуароне, в департаменте Изер. Загипнотизировав Жозефину, полковник Дерош отсылал ее назад, через годы ее отрочества, детства и младенчества, через безмолвный мрак материнской утробы, через безмолвие и мрак тех лет, когда она, Жозефина, еще не была рождена, к свету и жизни ее предыдущего существования, в образе угрюмого, ворчливого и больного старика, по имени Жан-Клод Бурдон, который служил в 7-м артиллерийском полку в Безансоне и умер в возрасте семидесяти лет, будучи последние годы прикован к постели. Полковник Дерош загипнотизировал затем тень Жана-Клода Бурдона и отослал его еще дальше, через младенчество, рождение и мрак небытия, пока он снова не увидел свет и жизнь в образе злобной старухи Филомены Катерон, своей предшественницы.

Но, как я ни старался, кусочек соломы, поблескивавший в жалком луче света, просачивавшемся в одиночную камеру, ни разу не помог мне получить цельную картину предыдущего существования. В конце концов после многих неудач я решил, что, только пройдя через смерть, я смогу воскресить полное и ясное воспоминание о моих прежних личностях. Но жизнь была сильна во мне. Я, Даррел Стэндинг, не хотел умирать и не позволял начальнику тюрьмы Азертону и капитану Джеми убить меня. Потребность жить всегда была во мне так велика, что, наверное, только благодаря ей я все еще здесь, ем и сплю, думаю и грежу, пишу этот рассказ о моих различных «я» и жду неизбежной петли, которая завершит один из эфемерных периодов длинной цепи моих существований.

И вот тогда я узнал смерть в жизни, тогда я научился ей. Как вы прочтете в дальнейшем, обучил меня этому Эд Моррел. А начало всему положили начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми. В один прекрасный день их вновь обуяла паника при мысли о спрятанном динамите, в существование которого они твердо верили. Они явились в мою камеру и прямо сказали мне, что замучают меня рубашкой до смерти, если я не признаюсь, где спрятан динамит. Они заверили меня, что все будет сделано по правилам и никак не повредит их служебному положению и репутации. В тюремном архиве будет записано, что я умер от болезни. О милейшие, закутанные в ватку обыватели! Поверьте мне, и сейчас в тюрьмах убивают людей, как убивали их там всегда с того дня, когда была построена первая тюрьма. Я хорошо знал, какими муками, каким ужасом грозит мне смиренная рубашка. Я видел людей, чей дух был сломлен смиренной рубашкой, я видел людей, навеки искалеченных рубашкой, я видел, как люди – сильные люди, такие сильные, что их организм не поддавался тюремному туберкулезу, – после нескольких часов в рубашке теряли стойкость духа, сламывались и через полгода умирали от туберкулеза. Косоглазый Уилсон, у которого было слабое сердце, о чем никто не подозревал, умер в смиренной рубашке еще до истечения часа, а

недоверчивый невежда тюремный доктор глядел на это и улыбался. Я видел, как люди после получаса рубашки признавались в том, что было, и в том, чего не было, лишаясь всех льгот, заработанных долгими годами безупречного поведения.

У меня есть и собственное воспоминание о ней. Мое тело покрыто тысячами шрамов, которые я унесу с собой на эшафот, и проживи я еще сто лет, и тогда эти шрамы сошли бы со мной в могилу. Может быть, милейший обыватель, ты, позволяя своим цепным псам шнуровать смирительную рубашку и оплачивая их труд, может быть, ты не знаешь, что это такое. Поэтому я расскажу о ней подробно, чтобы ты понял, каким образом я обрел смерть в жизни, становился на недолгий срок властелином времени и пространства и покидал тюремные стены, чтобы бродить среди звезд.

Тебе когда-нибудь приходилось видеть брезентовые накидки или резиновые одеяла с вделанными в них по краям медными колечками? Ну, так представь себе кусок толстого брезента фута четыре с половиной в длину, с довольно большими колечками по обоим краям. Ширина этого куса всегда меньше обхвата человеческого тела, которое будет в него затянуто. Кроме того, кусок этот имеет неправильную форму: в плечах и бедрах он шире, а в талии заметно уже.

Рубашку расстилают на полу. Человеку, которого надо наказать или пытать, чтобы вырвать у него признание, велят лечь ничком на брезент. Если он отказывается, его избивают. После этого он ложится добровольно, то есть по воле цепных псов, то есть по твоей воле, милейший обыватель, кормящий цепных псов и награждающий за то, что они выполняют за тебя эту неприятную обязанность.

Человек лежит ничком. Края рубашки стягиваются как можно ближе вдоль его позвоночника. Затем через отверстия пропускается веревка, словно шнурок башмака, и брезент на человеке зашнуровывают, словно башмак. Только его затягивают так, как никому и в голову не придет затягивать башмак. На тюремном жаргоне это именуется «подтянуть подпругу». В тех случаях когда шнуровка поручается жестоким и злопамятным надзирателям или когда так приказывает начальство, надзиратель, чтобы затянуть рубашку потуже, упирается ногой в спину лежащего. Вам, наверное, приходилось слишком туго затянуть шнурки своего башмака – помните, как через полчаса в подъеме начиналась невыносимая боль? И, наверное, вы не забыли, что через несколько минут такой боли вы спешили развязать шнурок, так как больше не могли сделать ни шагу? Прекрасно. Попробуйте же вообразить, что вот так же, только гораздо туже, затянуто все ваше тело и что давление испытывает не только подъем одной ноги, но все туловище, и что ваше сердце, ваши легкие и все остальные жизненно важные органы сжаты до такой степени, когда скорая смерть кажется неминуемой.

Я хорошо помню, как впервые попробовал рубашки в карцере. Это было в самом начале моей «неисправимости», вскоре после того, как я попал в тюрьму и ткал в джутовой мастерской сто ярдов мешковины в день – обычную мою норму, – заканчивая ее на два часа раньше срока. Да, я кончал раньше, а мешковина у меня получалась гораздо лучше, чем это требовалось по правилам. Однако в первый раз меня зашнуровали в рубашку, если верить тюремным отчетам, за «узелки» и «неровности» в мешковине – другими словами, за то, что я ткал брак. На самом же деле меня зашнуровали в рубашку потому, что я, новый заключенный, знаток производительности труда, эксперт по вопросу экономии движений, попробовал научить глупого начальника мастерской тому, о чем он не имел ни малейшего представления. Начальник мастерской в присутствии капитана Джеми подозвал меня к своему столу и, показав никуда не годную мешковину, совсем не похожую на ту, которую изготовлял я, потребовал, чтобы я работал лучше. Я получил три таких предупреждения. Третье, по правилам ткацкой, означало наказание. И меня наказали – на двадцать четыре часа затянув в рубашку.

Меня отвели в карцер и приказали лечь ничком на брезент, расстеленный на полу. Я отказался. Один из тюремщиков, Моррисон, стал бить меня большими пальцами по горлу. Мобинс, тюремный староста, сам заключенный, накинулся на меня с кулаками. В конце концов я лег, как мне было приказано. А они, разозленные моим сопротивлением, затянули шнуровку особенно туго. И потом, словно бревно, перекатали меня с живота на спину.

Сперва это было не очень страшно. Когда дверь карцера захлопнулась, засовы с лязгом вошли в гнезда и я остался в полной темноте, было одиннадцать часов утра. Несколько минут я ощущал только неприятную скованность во всем теле и решил было, что она пройдет, как только я привыкну к своей позе. Тщетные надежды! Сердце мое начало бешено колотиться, а легкие, казалось, никак не могли вобрать достаточно воздуха. Это ощущение удушья было невыразимо ужасным, и каждый удар сердца грозил разорвать и без того готовые лопнуть легкие.

После бесконечно долгих часов этой муки – теперь, основываясь на своем богатом опыте, я полагаю, что на самом деле прошло не более тридцати минут, – я начал кричать, вопить, визжать и выть в предсмертной тоске. Страшнее всего оказалась боль в сердце. Это была резкая, сосредоточенная в одном месте боль, вроде той, какая бывает при плеврите, но только она разрывала самое сердце.

Умереть – это нетрудно, но умирать так медленно, таким ужасным способом было невыносимо. Я сходил с ума от страха, как попавший в ловушку дикий зверь, кричал и выл, пока вдруг не понял, что от таких вокальных упражнений боль в сердце только увеличивается, а в легких становится все меньше воздуха.

Я умолк и долгое время лежал совсем спокойно – целую вечность, как показалось мне тогда, хотя сейчас я знаю, что прошло всего четверть часа. От удушья голова моя кружилась, а сердце колотилось так бешено, словно готово было вот-вот разорвать стягивающий меня брезент. Потом я снова потерял власть над собой и испустил безумный вопль, моля о пощаде.

И вдруг в соседнем карцере раздался голос.

– Заткнись, – кричал кто-то, хотя до меня долетал только слабый шепот, – заткнись, ты мне надоел!

– Я умираю! – продолжал вопить я.

– Плюнь и забудь об этом! – донесся ответ.

– Но я же и правда умираю! – настаивал я.

– А тогда зачем поднимать шум? – спросил мой невидимый собеседник. – Вот скорее помрешь, и все кончится. Давай, давайдохни, только потише. Мне так сладко спалось, а ты тут поднял визг.

Это бессердечие настолько меня возмутило, что ко мне вернулось самообладание, я перестал кричать, и из моей груди вырывались лишь приглушенные стоны. Снова прошла вечность – минут десять. А потом я почувствовал покалывание во всем теле, и оно начало неметь – такое ощущение бывает, когда отсидишь ногу. Сначала я терпел, но когда покалывание прекратилось, а онемение продолжало усиливаться, снова перепугался.

– Дашь ты мне спать или нет? – раздался раздраженный голос моего соседа. – Мне не легче, чем тебе. Мою рубашку затянули так же туго, как твою, и я хочу поскорее заснуть и забыть обо всем.

– А давно тебя затянули? – спросил я, не сомневаясь, что ему еще только предстоят столетия мук, которые я уже претерпел.

– Позавчера, – ответил он.

– Да нет, затянули в рубашку, – пояснил я.

– Позавчера, приятель.

– О Господи! – взвизгнул я.

– Да, приятель, я пролежал в ней уже пятьдесят часов и, как видишь, не хнычу, хоть они затянули мою подпругу, упершись ногой мне в спину. Можешь не сомневаться, я крепко спеленут. Видишь, не ты один такой несчастный. А ведь ты лежишь тут меньше часа.

– Нет, я лежу тут много часов, – возразил я.

– Если хочешь, думай так, приятель, но от этого ничего не изменится. Говорю тебе, ты и часа здесь не лежишь, я ведь слышал, как тебя шнуровали.

Это показалось мне невероятным. Не прошло еще и часа, а я уже умирал тысячу раз. А мой сосед, такой невозмутимый, спокойный, почти благодушный, несмотря на грубость первых его окриков, пролежал в рубашке целых пятьдесят часов!

– И долго еще они собираются держать тебя тут? – спросил я.

– А черт их знает! Капитан Джеми на меня зол и не выпустит, пока я не начну подышать. А теперь, приятель, послушайся моего совета. Закрой глаза и забудь обо всем. Нытьем делу не поможешь. А чтобы забыть, надо забыть. Вот попробуй вспомнить по очереди всех знакомых девочек, глядишь, и скоротаешь часок-другой. Может, у тебя в голове помутится. И пусть. Тут уж время идет совсем незаметно. А когда девочки кончатся, думай о парнях, на которых у тебя зуб, и как бы ты посчитался с ними, попадись они тебе, и как ты с ними считаешься, когда они тебе попадутся.

Этого человека звали Рыжий из Филадельфии. Он был рецидивистом и за грабеж на улицах Аламеды получил пятьдесят лет. Когда он разговаривал со мной в карцере, он уже отсидел двенадцать – а это было семь лет назад. Он был одним из тех сорока, кого оговорил Сесил Уинвуд. После этой истории Рыжий из Филадельфии лишился права на льготы. Теперь он пожилой человек и по-прежнему находится в Сен-Квентине. И если доживет до дня своего освобождения, то будет уже дряхлым стариком.

Я вытерпел свои сутки, но с тех пор никогда уже не мог стать прежним человеком. О, я имею в виду не мое физическое состояние, хотя на следующее утро, когда меня расшнуровали, я был полупарализован и почти без сознания, так что тюремщикам пришлось несколько раз пнуть меня в ребра, чтобы я наконец поднялся на ноги. Но я стал другим человеком духовно и нравственно. Зверская физическая пытка унизила меня, оскорбила мое понятие о справедливости. Такие наказания не смягчают человека. Первое знакомство со смирительной рубашкой наполнило мое сердце горечью и жгучей ненавистью, которые с годами все росли. О Господи!.. Стоит мне подумать, что со мной делали... Двадцать четыре часа в рубашке! Когда в то утро они пинками заставили меня встать, я и не подозревал, что придет время, когда двадцать четыре часа в рубашке станут для меня пустяком; когда после ста часов в рубашке я улыбнусь тем, кто будет меня развязывать; когда после двухсот сорока часов в рубашке на моих губах будет играть все та же улыбка.

Да, двести сорок часов. Милейший, закутанный в ватку обыватель, знаешь ли ты, что это значит? Это значит десять дней и десять ночей в рубашке. О, конечно, в христианских странах через девятнадцать веков после рождения Христа такие вещи не делаются. Я не прошу, чтобы ты мне поверил. Я и сам в это не верю. Я знаю только, что со мной в Сен-Квентине это проделали и что я выжил и смеялся над ними и оставил им только одну возможность избавиться от меня – приговорить меня к повешению за то, что я расквасил нос тюремщику.

Я пишу эти строки в году тысяча девятьсот тринадцатом от Рождества Христова, и в году тысяча девятьсот тринадцатом от Рождества Христова, в эту самую минуту, в карцерах Сен-Квентина лежат люди, затянутые в смирительную рубашку.

Пока будет продолжаться цепь моих жизней, я никогда не забуду о том, как я расстался в то утро с Рыжим из Филадельфии. К тому времени он провел в рубашке семьдесят четыре часа.

– Видишь, приятель, ты жив и здоров! – крикнул он мне, когда я, пошатываясь, вышел из карцера и побрел по коридору.

– Заткнись, Рыжий! – рявкнул на него надзиратель.

– Еще чего! – слышалось в ответ.

– Я до тебя доберусь, Рыжий! – пригрозил надзиратель.

– Ты так думаешь? – ласково спросил Рыжий из Филадельфии, а потом злобно процедил сквозь зубы: – Где тебе до меня добраться, старая кочерьяжка! Ты бы и до своей работенки не добрался, если бы не связи твоего братца. А мы все знаем, в какое вонючее местечко ведут связи твоего братца.

Это было восхитительно – мужество человека, сумевшего подавить в себе страх перед самой зверской системой.

– До свидания, приятель! – крикнул мне вслед Рыжий из Филадельфии. – Всего хорошего! Будь умницей и люби начальника тюрьмы. А если увидишь его, скажи, что ты меня видел, да не видел, чтоб я кого обидел.

Надзиратель побагровел от ярости, и за шутку Рыжего мне пришлось получить немало пинков и ударов.

Глава VIII

В одиночной камере номер один начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми начали допрашивать меня с пристрастием. Начальник тюрьмы заявил мне:

– Стэндинг, ты образумишься и скажешь, где этот динамит, или умрешь в рубашке. Люди и покрепче тебя образумливались, когда я говорил с ними по-свойски. Выбери – динамит или гроб.

– Значит, гроб, – ответил я, – потому что о динамите мне ничего не известно.

Это вывело начальника тюрьмы из себя, и он не стал затягивать дела.

– Ложись! – скомандовал он.

Я подчинился, так как уже по опыту знал, каково драться с тремя-четырьмя сильными людьми. Они зашнуровали меня как могли ту же и дали мне сто часов. Каждые двадцать четыре часа меня поили водой. Есть я не хотел, да меня и не кормили. К концу этой сотни часов Джексон, тюремный врач, несколько раз приходил проверить, в каком я состоянии.

Но за время моей «неисправимости» я настолько привык к рубашке, что одна ее порция не могла произвести на меня большого впечатления. Конечно, рубашка ослабляла меня, выжимала из меня жизнь, но я научился так напрягать мускулы, что когда меня шнуровали, выгадывал немного пространства. К концу первых ста часов я был измучен, но и только. Мне дали сутки отдохнуть и опять затянули в рубашку – уже на сто пятьдесят часов. Почти все это время я не чувствовал своего тела и бредил. А иногда, напрягая всю силу воли, надолго засыпал.

Затем начальник тюрьмы решил попробовать другой прием. Теперь мне никогда не было известно заранее, сколько часов я буду отдыхать, а сколько проведу в рубашке. Я даже не знал, когда именно меня зашнуруют. Так, например, если один раз я отдыхал десять часов, а в рубашке проводил двадцать, то в другой раз получал только четыре часа отдыха. В глухую ночь гремели засовы моей камеры, и дежурные надзиратели принимались меня шнуровать. Иногда устанавливался какой-то ритм. Скажем, в течение трех суток мне давалось попеременно восемь часов рубашки и восемь часов отдыха. А потом, когда я уже привыкал к этому, все неожиданно изменялось, и я получал двое суток рубашки.

И все время мне задавали все тот же вопрос: где динамит? Иногда начальник тюрьмы впадал в ярость. Порой же, после того как я выдерживал особенно жестокую шнуровку, он принимался уговаривать меня по-хорошему. Один раз он даже пообещал мне три месяца полного отдыха в тюремной больнице, хорошую еду, а по выздоровлении – легкую работу в тюремной библиотеке.

Доктор Джексон, тщедушный человечиска с поверхностными медицинскими познаниями, вдруг уверовал в мою выносливость. Сколько бы меня ни держали в рубашке, заявил он, я все равно выживу. После этого Азертон почувствовал, что ему совершенно необходимо доказать обратное.

– Эти тощие интеллигенты проведут хоть самого дьявола, – ворчал он. – Они крепче сыромятных ремней. Но все равно, мы его пересилим. Слышишь, Стэндинг? Это все цветочки, а ягодки будут впереди. Не тяни, признайся сейчас – и тебе спокойнее будет и нам. Я от своего слова не отступлю. Я сказал тебе: динамит или гроб. Так оно и будет. Выбери!

– Неужели вы думаете, что я молчу ради удовольствия? – прошептал я, еле переводя дыхание, так как в эту минуту Конопатый Джонс уперся ногой мне в спину, чтобы потуже затянуть шнуровку, а я напрягал последние силы, стараясь отвоевать себе лишнее пространство. – Мне не в чем признаваться. Да я с радостью отдал бы правую руку, только бы отвести вас хоть к какому-нибудь динамиту.

– Я таких образованных видел немало, – презрительно фыркнул он. – У некоторых из вашей братии бывают в башке такие колесики, которые заставляют вас твердить одно и то же. Вот вы и артачитесь, словно норовистые лошади. Туже, туже, Джонс, разве так шнуруют! Стэндинг, если ты не признаешься, ляжешь в гроб. Мое слово твердо.

Но нет худа без добра. Когда человек слабеет, он испытывает меньше страданий. Боли меньше, потому что нечему болеть. А человек, уже значительно ослабевший, потом слабеет все медленнее. Широко известно, что силачи переносят самые обычные болезни гораздо тяжелее, чем женщины и калеки. Когда запас сил истощается, терять уже нечего. Лишняя плоть исчезает, а то, что остается, сопротивляется, как сжатая до предела пружина. Собственно говоря, и я превратился в своеобразный организм-пружину, который не хотел умирать.

Моррел и Оппенгеймер жалели меня и выстукивали мне выражения сочувствия и всяческие советы. Оппенгеймер сообщил, например, что он прошел через это, вытерпел вещи и похуже, но все-таки остался в живых.

– Не поддавайся им, – выбивал он костяшками пальцев по стене. – Не позволяй им убить себя, потому что они только того и хотят. И не выдавай тайника.

– Да ведь никакого тайника нет, – выстукивал я в ответ носком башмака по двери (я был затянут в рубашку и мог разговаривать только ногами). – Я ничего не знаю об этом треклятом динамите.

– Правильно, – похвалил меня Оппенгеймер. – Он парень что надо, правда, Эд?

Как же я мог убедить Азертонна в том, что ничего не знаю о динамите, если даже мои товарищи мне не верили? Самая настойчивость начальника тюрьмы была доказательством противного для человека вроде Джека Оппенгеймера, который только восхищался упорством, с каким я все отрицал.

Первое время этой пытки я умудрялся довольно много спать, и мне снились замечательные сны. Дело было не в том, что они были яркими и правдоподобными, – это свойство большинства снов. Замечательными они были благодаря своей логичности и завершенности. Часто я выступал на ученых собраниях с докладами по очень сложным вопросам и читал вслух тщательно подготовленные описания моих собственных опытов или выводов, к которым я пришел, ознакомившись с чужими экспериментами. Когда я просыпался, у меня в ушах еще звучал мой голос, а перед глазами еще стояли целые предложения и абзацы, напечатанные на белой бумаге, и я, дивясь, успевал прочитывать их, прежде чем видение рассеивалось. Кстати, упомяну о том, как я со временем заметил, рассуждения во сне я неизменно строил на методе дедукции.

Иногда мне снилась огромная ферма, протянувшаяся на сотни миль с севера на юг в какой-то области с умеренным климатом, с флорой и фауной, сильно напоминающими калифорнийские. Не раз и не два, а тысячи раз я разъезжал по этой ферме-сновидению. Я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что это всегда была одна и та же ферма. В самых различных снах наиболее характерные ее черты оставались неизменными. Так, например, всегда требовалось восемь часов, чтобы в коляске, запряженной горными лошадками, добраться от поросших люцерной лугов (где у меня паслись стада джерсейских коров) до поселка у большого сухого оврага, где была станция одноколейки. И все приметные места на протяжении этого восьмичасового пути – каждое дерево, каждая гора, каждая речка и мост через нее, каждый кряж с выветрившимися склонами – во всех снах оставались одними и теми же.

Эта вполне реальная ферма, сновившаяся мне, когда я засыпал в смирительной рубашке, менялась только в частности, и перемены эти происходили в зависимости от времени года или от человеческого труда. Так, например, на горных пастбищах, расположенных над лугами с люцерной, я стал разводить ангорских коз. И каждый раз, когда я в грезах приез-

жал туда, я замечал изменения, вполне соответствовавшие промежутку между моими посещениями.

О, эти заросшие кустами склоны! И сейчас они стоят перед моими глазами, словно в те дни, когда там впервые появились козы. Я так отчетливо помню все последующие изменения: постепенно удлиняющиеся тропы – их козы в буквальном смысле слова проедали в густом кустарнике; исчезновение невысоких молодых кустиков, которые съедались целиком; аллеи, расходившиеся во всех направлениях по более старому, высокому кустарнику, который козы ошпыливали, становясь на задние ноги; наступление луговых трав по тропам, проложенным козами. Да, главная прелесть этих снов была в их связности и последовательности. Настал день, когда лесорубы срубили высокую поросль, чтобы козы могли кормиться листьями, почками и корой. Настал зимний день, когда сухие, обнаженные скелеты этой поросли были собраны в кучу и сожжены. Настал день, когда я перегнал моих коз на другие заросшие кустарником склоны, а мои коровы уже паслись по колена в сочной, густой траве, которая выросла там, где прежде не было ничего, кроме кустов. И настал день, когда я перегнал дальше моих коров, и мои работники прошлись плугами по этим склонам, переворачивали дерн, чтобы из него образовался жирный перегной для семян моего будущего урожая.

Да, и в моих снах я часто сходил с поезда на станции одноколейки в поселке, расположенном у большого сухого оврага, садился в коляску, запряженную моими горными лошадками, и несколько часов ехал по знакомой дороге, по лугам, заросшим люцерной, и дальше – к моим горным пастбищам, где уже созревали рожь, ячмень и клевер, сменявшие друг друга каждые три года, и где я смотрел, как мои работники собирают урожай, а выше, на склонах, мои козы объедали кусты, чтобы потом там появились такие же обработанные поля.

Это были сны, связанные сны, фантазии моего дедуктивного подсознания, но, как вы убедитесь, они были совсем не похожи на то, что мне пришлось испытать, когда я прошел врата малой смерти и заново пережил те жизни, которые выпали на мою долю в давно прошедшие времена.

В те долгие часы, когда я бодрствовал в смиренной рубашке, я все чаще начинал вспоминать Сесила Уинвуда, поэта-фальшивомонетчика, который с легким сердцем навлек на меня все эти мучения и теперь, получив свободу, вернулся в широкий мир за тюремными стенами. О нет, я не питал к нему ненависти, – это слишком слабое слово. В человеческом языке нет слов, которые могли бы выразить мои чувства. Скажу только, что меня грызла такая жажда мести, которая не поддается никакому описанию и сама – невыразимое страдание. Я не стану рассказывать вам ни о часах, посвященных выдумыванию всяких пыток для него, ни об изощренных дьявольских муках, изобретенных мной. Довольно будет одного примера. Сначала меня обворожил старинный способ казни, когда к животу человека привязывали железный котелок с живой крысой. Выйти на волю крыса могла только через тело человека. Как я уже сказал, эта пытка меня обворожила. Но потом я понял, что смерть при ней наступает слишком быстро, и принялся смаковать мавританское приспособление для... но нет, я ведь обещал, что не буду описывать этого. Достаточно сказать, что в часы бодрствования, сходя с ума от боли, я думал о том, как отомстил бы Сесилу Уинвуду.

Глава IX

Однако в долгие мучительные часы бодрствования я, кроме того, научился чрезвычайно важной вещи: я научился подчинять тело духу. Я научился страдать пассивно, как этому, вероятно, выучиваются все, кто прошел высший курс смирительной рубашки. Это вовсе не просто – погружать мозг в такую сладостную нирвану, что он уже не воспринимает лихорадочных, томительных жалоб измученных нервов.

Именно потому, что я научился подчинять плоть духу, мне удалось так легко воспользоваться секретом, который открыл мне Эд Моррел.

– Ты думаешь, тебе крышка? – простучал мне как-то ночью Эд.

Перед этим я пролежал сто часов в рубашке и необычайно ослаб. Так ослаб, что не чувствовал своего тела, хотя все оно было сплошной массой синяков и страдания.

– Похоже, что крышка, – простучал я в ответ. – Если они еще немного постараются, мне конец.

– А ты им не поддавайся, – посоветовал он. – Есть один способ. Я сам научился ему в карцере, когда нам с Масси дали хорошую порцию рубашки. Я выдержал, а Масси протянул ноги. Я выдержал только потому, что нашел способ. Но пробовать его надо тогда, когда совсем ослабеешь. Если у тебя еще есть силы, то можно все испортить, и потом уж ничего не получится. Я вот рассказал об этом Джеку, когда он был еще силен, а теперь вижу, что зря. Тогда у него, конечно, ничего не вышло, а потом, когда это было бы для него в самый раз, оказалось уже поздно, потому что первая неудача все ему испортила. Он теперь даже не верит в это. Думает, что я его разыгрываю. Правда, Джек?

Из камеры номер тринадцать Джек простучал в ответ:

– Не попадайся на эту удочку, Даррел. Просто сказки, и больше ничего.

– Ну, ты мне все-таки расскажи, – простучал я Моррелу.

– Потому-то я и ждал, чтобы ты как следует ослаб. Теперь тебе без этого не обойтись, и я расскажу. Все зависит только от тебя самого. Если захочешь по-настоящему, то получится. Я это делал три раза, я знаю.

– Ну, так что же это за способ? – нетерпеливо простучал я.

– Вся штука в том, чтобы умереть в рубашке, заставить себя умереть. Сейчас ты меня, конечно, не понимаешь, но погоди. Ну, ты знаешь, как тело в рубашке немеет – то рука, то нога. С этим ничего поделать нельзя, но зато этим можно воспользоваться. Не жди, чтобы у тебя онемели ноги или тело. Расположись как можно удобнее и пусти в ход свою волю. И все это время ты должен думать только об одном и верить в то, о чем думаешь. Если не будешь верить, ничего не получится. А думать ты должен вот что: твое тело – это одно, а твой дух – совсем другое. Ты – это ты, а твое тело – чепуха и ни за чем тебе не нужно. Твое тело не в счет. Ты сам себе хозяин. Никакого тела тебе не нужно. И когда ты подумаешь об этом и поверишь в это, то надо будет это доказать, пустив в ход свою волю. Ты заставишь свое тело умереть. Начать надо с пальцев на ноге, и не сразу, а по очереди. Ты заставляешь свои пальцы умереть. Ты хочешь, чтобы они умерли. Если у тебя хватит веры и воли, пальцы на твоих ногах умрут. Это самое трудное – начать умирать. Но стоит только умереть первому пальцу на ноге, как дальше все пойдет легко, потому что тебе незачем будет больше верить. Ты будешь знать. А тогда ты пустишь в ход всю свою волю, чтобы и остальное тело умерло. Я знаю, о чем говорю, Даррел. Я проделал это три раза. Как только начнешь умирать, дальше все пойдет гладко. А самое странное, что ты все время присутствуешь при этом целый и невредимый. Вот пальцы на твоих ногах умрут, а ты сам ни чуточки не мертв. Потом ноги умрут по колено, потом по бедро, а ты все такой же, каким был раньше. Твое тело по кусочкам

выходит из игры, а ты остаешься самым собой, точно таким же, каким был перед тем, как взялся за это дело.

– А что потом? – спросил я.

– Ну, когда твое тело целиком умрет, а ты останешься, каким был, ты просто вылезешь наружу и бросишь свое тело. А если ты выберешься из своего тела, то и выберешься из камеры. Каменные стены и железные двери не выпускают тела на волю. А дух они удержать не могут. И ты это докажешь. Ты же будешь духом снаружи своего тела. И сможешь посмотреть на свое тело со стороны. Я знаю, что говорю, я сам это проделал три раза – три раза смотрел со стороны на свое тело.

– Ха! Ха! Ха! – Джек Оппенгеймер простучал свой хохот через тринадцать камер.

– Понимаешь, в этом-то и беда Джека, – продолжал Моррел. – Он не может поверить. Когда он попробовал, то был еще слишком силен, и у него ничего не вышло. А теперь он думает, что я его разыгрываю.

– Когда ты померешь, то станешь покойничком. А покойнички не воскресают, – возразил Оппенгеймер.

– Да говорю тебе, что я умирал три раза, – настаивал Моррел.

– И дожил до того, чтобы рассказать нам об этом, – съязвил Оппенгеймер.

– Но помни одно, Даррел, – простучал мне Моррел, – это дело рискованное. Все время такое чувство, будто ты слишком своевольничаешь. Я не могу этого объяснить, но мне всегда кажется, что если я буду далеко, когда они вытащат мое тело из рубашки, то уж я не смогу в него вернуться. То есть мое тело по-настоящему помрет. А я не хочу, чтобы оно помиралось. Я не хочу доставить такое удовольствие капитану Джеми и всей остальной сволочи. Но зато, Даррел, если ты сумеешь сделать это, то оставишь Азертон в дураках. Если тебе удастся убить вот так, на время, свое тело, то пусть они держат тебя в рубашке хоть целый месяц, это уж никакого значения не имеет. Ты не чувствуешь боли, твое тело вообще ничего не чувствует. Ты ведь слышал, что некоторые люди спали по целому году, а то и больше. Вот так же будет и с твоим телом. Оно будет спокойно лежать себе в рубашке, ожидая, чтобы ты вернулся. Попробуй, я тебе дело говорю.

– А если он не вернется? – спросил Оппенгеймер.

– Тогда, Джек, значит, в дураках останется он, – ответил Моррел. – А может, и мы, потому что торчим в этой дыре, раз отсюда так просто выбраться.

На этом наш разговор оборвался, потому что Конопатый Джонс, очнувшись от своего противозаконного сна, злобно пригрозил подать рапорт на Моррела и Оппенгеймера, а это означало бы для них смиренную рубашку на следующий день. Мне он грозить не стал, так как знал, что я получу рубашку и без этого.

В наступившей тишине я, забывая о ноющей боли во всем теле, начал размышлять о том, что сообщил мне Моррел. Как я говорил выше, я уже пробовал с помощью самогипноза вернуться к моим предыдущим бытиям. Я знал также, что мне это отчасти удалось, хотя видения мои прихотливо переплетались без всякой логики и связи.

Но способ Моррела настолько очевидно был противоположен моим попыткам загипнотизировать себя, что я заинтересовался. При моем способе в первую очередь гасло сознание, при его способе сознание сохранялось до конца, и когда тело умирало, сознание переходило на такую высокую ступень, что покидало тело, покидало стены Сен-Квентина и отправлялось в дальние странствования, по-прежнему оставаясь сознанием.

«Во всяком случае, стоит попытаться», – решил я. Вопреки моему скептицизму ученого, я не сомневался в возможности проделать то, что, по словам Моррела, ему удавалось уже трижды. Возможно, легкость, с которой я ему поверил, объяснялась моей огромной слабостью. Возможно, у меня не хватало сил быть скептиком. Это предположение уже высказал

Моррел. Выводы его были чисто эмпирическими, и я тоже, как вы увидите, подтвердил их чисто эмпирически.

Глава X

А важнее всего было то, что на следующее утро начальник тюрьмы вошел в мою камеру с твердым намерением убить меня. Вместе с ним явились капитан Джеми, доктор Джексон, Конопатый Джонс и Эл Хэтчинс. Эл Хэтчинс должен был отбыть сорок лет, но надеялся на помилование. Уже четыре года он состоял главным старостой Сен-Квентина. Вы поймете, какую власть давало ему это положение, если я скажу, что только одними взятками главный староста набирал до трех тысяч долларов в год. Поэтому Эл Хэтчинс, накопивший двенадцать тысяч долларов и ожидавший помилования, готов был слепо выполнить любое приказание начальника тюрьмы.

Я сказал вам, что начальник тюрьмы вошел в мою камеру, твердо решив избавиться от меня. Это было видно по его лицу. И это доказали его распоряжения.

– Осмотрите его, – приказал он доктору Джексону.

Эта жалкая пародия на человека, этот «доктор» сорвал с меня заскорузлую от грязи рубашку, которая была на мне с тех пор, как я попал в одиночку, и обнажил мое жалкое, истощенное тело; моя кожа, обтягивавшая ребра, словно коричневый пергамент, от частого знакомства со смирительной рубашкой покрылась воспаленными язвами. Осматривал он меня с бесстыдной небрежностью.

– Ну что, выдержит он? – спросил начальник тюрьмы.

– Да, – ответил доктор Джексон.

– Как работает сердце?

– Великолепно.

– По-вашему, он выдержит десять дней?

– Конечно.

– Я в это не верю, – сердито сказал Азертон, – но мы все-таки попробуем... Ложись, Стэндинг.

Я подчинился и лег ничком на расстеленную рубашку.

Начальник тюрьмы, казалось, вдруг заколебался.

– Перевернись, – приказал он.

Я попробовал перевернуться, но слабость моя была слишком велика, и я только беспомощно дергался и изгибался.

– Притворяется, – заметил Джексон.

– Ну, ему незачем будет притворяться, когда я с ним разделаюсь, – ответил начальник тюрьмы. – Помогите-ка ему. Мне некогда с ним возиться.

Меня перевернули на спину, и я устремил взгляд на Азертона.

– Стэндинг, – произнес он медленно. – Я больше не намерен с тобой нянчиться. Я по горло сыт твоим упрямством. Мое терпение кончилось. Доктор Джексон говорит, что ты вполне можешь выдержать десять дней в рубашке. Ну, ты сам понимаешь, много ли у тебя шансов. Но я собираюсь дать тебе еще один шанс. Расскажи, где динамит. Как только он будет в моих руках, я заберу тебя отсюда. Ты сможешь вымыться, побриться и получить чистое белье. Я позволю тебе шесть месяцев отъедаться на больничном пайке, ничего не делая, а потом назначу тебя старостой библиотеки. Ты сам понимаешь, что лучше этого я тебе ничего предложить не могу. Ведь я не прошу тебя стать легавым. Ты же единственный человек в Сен-Квентине, который знает, где этот динамит. Ты никому не повредишь, если согласишься, а тебе самому это пойдет только на пользу. Ну, а если ты не согласишься... – Он помолчал и многозначительно пожал плечами. – Ну, а если ты не согласишься, то сейчас тебя затамят в рубашку на десять суток.

При этих словах меня охватил ужас. Я был так слаб, что десятидневное пребывание в рубашке означало для меня смерть, это я знал не хуже начальника тюрьмы. И тут я вспомнил о способе Моррела. Теперь или никогда. Настал час, когда он был мне нужен, настал час, когда надо было на деле доказать свою веру в него. Я улыбнулся прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону, и в эту улыбку я вложил всю мою уверенность – так же, как в предложение, с которым я к нему обратился.

– Начальник, – сказал я, – видите, как я улыбнулся? Ну, а если через десять дней, когда вы меня расшнуруете, я опять вот так же улыбнусь вам, вы дадите по пачке табаку и курительной бумаги Моррелу и Оппенхеймеру?

– Эти интеллигенты все полоумные, – фыркнул капитан Джеми.

Начальник тюрьмы был вспыльчивым человеком и счел мою просьбу наглым издевательством.

– За это тебя зашнуруют покрепче, – пообещал он мне.

– Я предлагаю вам пари, начальник, – ответил я невозмутимо. – Затяните меня так туго, как только возможно, но если я улыбнусь вам через десять дней, дадите вы табаку Моррелу и Оппенхеймеру?

– Ты что-то очень в себе уверен, – заметил он.

– Вот почему я и предлагаю вам пари, – ответил я.

– В Бога уверовал? – насмешливо протянул он.

– Нет, – ответил я, – просто во мне столько жизни, что вам никогда не исчерпать ее до конца. Спеленайте меня хоть на сто дней, и я все-таки улыбнусь вам.

– Ты сдохнешь, Стэндинг, еще прежде, чем пройдут десять дней.

– Вы так думаете? – сказал я. – А сами-то вы в это верите? Если бы верили, то не боялись бы потерять десять центов на двух пачках табаку. Что вас, собственно, пугает?

– За два цента я разбил бы сейчас твою рожу! – рявкнул он.

– Не буду вам мешать, – сказал я с изысканной вежливостью. – Бейте сильнее! Но у меня все-таки останутся зубы, чтобы улыбнуться. А пока вы еще не решили, стоит ли разбивать мне лицо, может быть, вы все же примете мое пари?

Чтобы так дразнить начальника тюрьмы в одиночной камере, нужно страшно ослабеть и совсем отчаяться... или нужно твердо верить. Теперь я знаю, что я верил и поступал согласно этой вере. Я верил в то, о чем рассказал мне Моррел, я верил во власть духа над телом, я верил, что даже сто дней в рубашке не убьют меня. Капитан Джеми, вероятно, почувствовал эту веру, которая поддерживала меня, так как он сказал:

– Помнится, лет двадцать назад тут сошел с ума один швед. Это было еще до вас, мистер Азертон. Он убил человека – поссорился с ним из-за двадцати пяти центов – и получил на всю катушку. Он был поваром. И вдруг уверовал. Сказал, что за ним спустится золотая колесница и вознесет его на небеса. А потом сел на раскаленную плиту и стал распевать псалмы и вопить «Аллилуйя!», пока жарился. Еле его стащили, но через два дня он протянул ноги в больнице. Прожарился до самых костей. И даже перед смертью клялся, что не чувствовал ожога. И ни разу не пикнул от боли.

– Ну, Стэндинг у нас запищит, – сказал начальник тюрьмы.

– Раз уж вы так уверены, почему же вы не принимаете мое пари? – подзадорил я его.

Азертон пришел в такое бешенство, что, несмотря на мое отчаянное положение, я чуть не расхохотался. Лицо его перекошилось, он сжал кулаки, и казалось, вот-вот накинется на меня и изобьет до полусмерти. Однако, сделав над собой усилие, он взял себя в руки.

– Ну, ладно, Стэндинг, – прорычал он, – идет. Но запомни мои слова: тебе придется попытеть, чтобы улыбнуться через десять дней. Переверните его на живот, ребята, и затяните так, чтобы ребра затрещали. Ну-ка, Хэтчинс, докажи ему, что ты в этом деле мастер.

И они перевернули меня на живот и затащили так, как меня еще никогда не затащивали. Главный староста показал все свое умение. Я попытался отвоевать хоть чуточку пространства. На многое рассчитывать было нельзя, потому что я давно уже стал худ, как щепка, а мышцы мои превратились в веревочки. У меня не оставалось ни сил, ни тела, ни мускулов, чтобы их напрячь, и той малости, которую мне удавалось урвать, я добивался, выпячивая свои суставы. Я готов в этом поклясться. Но и этой малости Хэтчинс лишил меня – до того, как попасть в старосты, он изучил все уловки с рубашкой внутри этой рубашки.

Дело в том, что Хэтчинс был подлецом! Может быть, прежде он и был человеком, но его изломали на колесе. В его распоряжении было около двенадцати тысяч долларов, и, рабски исполняя приказы, он мог выклянчить себе свободу. Потом я узнал, что у него была девушка, которая осталась ему верна и ждала его освобождения. Женщина многое объясняет в поведении мужчины.

И вот этим утром в одиночке по приказу начальника тюрьмы Эл Хэтчинс изо всех сил старался совершить убийство. Он отнял у меня даже то крохотное пространство, которое я сперва было украл. А когда я его лишился, тело мое осталось без защиты, и он, упираясь ногой в мою спину, стянул шнуровку так, как ее еще никто не стягивал. Мои лишённые мускулов кости сдавили сердце и легкие, и смерть, казалось, могла наступить в любую минуту. И все же моя вера поддержала меня. Я был убежден, что не умру. Я знал, повторяю, я *знал*, что не умру. Голова у меня отчаянно кружилась, а бешеные удары сердца прокатывались по всему телу, от пальцев ног до корней волос на затылке.

– Пожалуй, туговато будет, – растерянно заметил капитан Джеми.

– Ничего подобного, – отозвался доктор Джексон, – ни черта с ним не случится, вот увидите. Он ненормальный, другой на его месте давно бы уже умер.

Начальник тюрьмы с большим трудом умудрился просунуть указательный палец между шнуровкой и моей спиной. Наступив на меня, прижав меня к полу всей тяжестью своего тела, он потянул за веревку, но ему не удалось вытянуть ее и на десятую долю дюйма.

– Должен признать, Хэтчинс, – сказал он, – ты свое дело знаешь. А теперь переверните-ка его на спину, надо на него посмотреть.

Они перевернули меня лицом вверх. Я глядел на них выпученными глазами. Я знаю одно: если бы меня затащили так, когда я в первый раз попробовал рубашки, я умер бы через десять минут. Но я прошел хорошую школу. У меня за спиной были уже тысячи часов, проведенных в рубашке, а кроме того, я верил в способ Моррела.

– Смейся же, черт тебя возьми, смейся! – сказал мне начальник тюрьмы. – Ну-ка, покажи нам улыбку, которой ты хвастался.

Моим легким не хватало воздуха, моя голова разрывалась от боли, сознание туманилось, и все-таки я сумел улыбнуться прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону.

Глава XI

Дверь со стуком захлопнулась, в камере воцарился серый сумрак, и я остался один. С помощью хитрых приемов, которым меня уже давно научила рубашка, я, извиваясь и дергаясь, передвигаясь то на дюйм, то на полдюйма, подобрался поближе к двери, так что смог коснуться ее носком правого башмака. Это уже была огромная радость. Полное одиночество кончилось. Я мог теперь перестукиваться с Моррелом.

Однако начальник тюрьмы, очевидно, отдал строгое распоряжение страже, так как хотя я сумел позвать Моррела и сообщить ему о своем намерении попробовать его способ, ему не позволили ответить. Но со мной надзиратели ничего не могли поделать и только ругались: мне предстояло провести в рубашке десять суток, и теперь меня нельзя было запугать никаким наказанием.

Помнится, я заметил тогда, что на душе у меня удивительно спокойно. Тело мое ощущало обычную боль от рубашки, но сознание было таким бездеятельным, что я не замечал боли, как не замечал пола под собой или стен вокруг. Это было идеальное состояние духа для предстоявшего мне эксперимента. Конечно, в основном я был обязан им огромной телесной слабости. Но не только ей. Я уже давно приучил себя не обращать внимания на боль. Меня не терзали ни страх, ни сомнения. Я был преисполнен абсолютной веры в безграничную власть духа над телом. В этой бездеятельности сознания было что-то от сна, и все же она оставалась явью, по-своему близкой к экстазу.

Я собрал всю свою волю. Мое тело уже начинало неметь из-за нарушенного кровообращения. Сосредоточившись на мизинце правой ноги, я приказывал ему умереть в моем сознании. Я приказал этому мизинцу стать мертвым для меня, его господина, существующего помимо него. Началась упорная борьба. Моррел предупреждал меня, что так будет. Но даже тень сомнения не омрачила моей веры. Я знал, что мизинец умрет, и я уловил мгновение, когда он умер. Сустав за суставом он умирал под воздействием моей воли.

Остальное было уже легко, хотя не отрицаю, что весь процесс оказался очень медленным. Сустав за суставом, палец за пальцем прекратили существование пальцы на ногах. И сустав за суставом мое тело продолжало умирать. Настала минута, когда исчезла плоть моей стопы. Настала минута, когда исчезли обе лодыжки.

Мой экстаз был так глубок, что я не чувствовал ни малейшей гордости от удаchi эксперимента. Я сознавал только, что заставляю мое тело умирать. И все то, что было мной, целиком посвятило себя этой задаче. Я делал свое дело с аккуратностью каменщика, кладущего стену кирпич за кирпичом, и оно представлялось мне таким же будничным, каким представляется каменщику его повседневный труд.

По истечении часа мое тело было мертво по бедра, но я продолжал умерщвлять его сустав за суставом, и смерть поднималась все выше.

Однако когда я добрался до уровня сердца, сознание мое впервые затуманилось. Испугавшись обморока, я приказал умершей части тела оставаться мертвой и сосредоточился на пальцах рук. Ясность сознания тотчас вернулась ко мне, и я очень быстро умертвил руки и плечи.

Теперь все мое тело было мертво, если не считать головы и кусочка груди. Бешеные удары моего стиснутого сердца перестали отдаваться в голове. Оно билось теперь ровно, хотя и слабо. Если бы я посмел тогда обрадоваться, эта радость была бы порождена отсутствием ощущений.

Однако дальше у меня все пошло не так, как у Моррела. Продолжая машинально напрягать волю, я постепенно погрузился в дремотное состояние, лежащее на границе сна и бодрствования. Мне начало казаться, что мой мозг стал увеличиваться внутри черепа, который

оставался прежним. Порой ярко вспыхивал свет, словно даже я, дух-господин, на мгновение исчезал, а потом возникал снова, все еще в пределах плотского обиталища, умерщвляемого мною.

Особенно странным было увеличение мозга. Хотя он и не проходил сквозь стенки черепа, мне казалось, что часть его уже находится снаружи черепа и продолжает увеличиваться. А вместе с этим возникало удивительное ощущение, которого мне еще никогда не доводилось испытывать. Время и пространство в той мере, в какой они были частью моего сознания, вдруг обрели гигантскую протяженность. Так, я знал, даже не открывая глаз, что стены моей камеры раздвинулись, превратив ее в огромный дворцовый зал. И пока я обдумывал этот факт, они все продолжали раздвигаться. Тут мне пришла в голову забавная мысль: если так же росла и вся тюрьма, то наружные стены Сен-Квентина с одной стороны должны были бы оказаться в волнах Тихого океана, с другой – уже подбираться к Невадской пустыне. Затем у меня возникла другая забавная мысль: раз материя может просачиваться сквозь материю, то вполне возможно, что стены моей камеры уже просочились сквозь тюремные стены и, значит, моя камера находится вне тюрьмы, а я – на свободе. Разумеется, это были только фантазии, о чем я ни на секунду не забывал.

Расширение времени было столь же замечательным. Удары моего сердца раздавались лишь через долгие промежутки. Это тоже показалось мне забавным, и я принялся медленно и размеренно отсчитывать секунды между ударами. Сперва такой промежуток был равен ста секундам с лишним. Но промежутки продолжали непрерывно увеличиваться, и я бросил считать.

Это иллюзорное расширение пространства и времени непрерывно продолжалось, и я начал лениво обдумывать новый и чрезвычайно важный вопрос. Моррел рассказал мне, что он освобождался от своего тела, убивая его, вернее, отделяя сознание от тела, что, впрочем, одно и то же. Так вот, мое тело было настолько близко к полной смерти, что стоило мне быстро сосредоточить волю на оставшемся живым кусочке, как он тоже перестал бы существовать, – в этом я был абсолютно убежден. Но тут-то и крылась загвоздка, о которой Моррел мне ничего не сказал, – должен ли я убить и голову? Вдруг, если я сделаю это, тело Даррела Стэндинга навеки останется мертвым, что бы ни происходило с духом Даррела Стэндинга?

Я решил, что рискну убить грудь и сердце. Напряжением воли я мгновенно добился желаемого результата. У меня больше не было ни груди, ни сердца. Я был только духом, душой, сознанием – называйте это, как хотите, – заключенным в туманном мозгу, который, оставаясь внутри моего черепа, тем не менее уже вышел за его пределы и продолжал расширяться вне их.

И вдруг во мгновение ока я унесся прочь. Одним прыжком я оставил тюрьму далеко внизу, пронизал калифорнийское небо и оказался среди звезд. Я говорю «среди звезд» совершенно сознательно. Я гулял среди звезд. Я был ребенком. Меня окутывала тонкая шелковистая ткань самых нежных оттенков, мерцавшая и переливавшаяся в спокойном прохладном свете звезд. Это одеяние, несомненно, родилось из моих детских впечатлений от цирковых акробатов и представлений об одеждах ангелочков.

Но как бы то ни было, я шагал в этом наряде по межзвездным пространствам, опьяненный сознанием, что меня ждет великий подвиг, который даст мне познать все космические законы и постигнуть великую тайну тайн вселенной. В руке я держал стеклянный жезл. Мне было известно, что я должен коснуться кончиком этого жезла каждой звезды, мимо которой буду проходить. И я знал с абсолютной уверенностью, что стоит мне пропустить хотя бы одну, как я буду низвергнут в бездонную пропасть вечного наказания и вечной вины.

Мой звездный путь был долог. Когда я говорю «долог», вам следует помнить о том, как колоссально расширилось время в моем мозгу. Я шел в пространстве века и века, уверенно и

без промаха касаясь кончиком жезла каждой встречной звезды. Все ярче разгорался свет. Все ближе был я к несказанному источнику безграничной мудрости. Именно я сам, а не какое-то другое мое «я». И это не было тем, что я когда-то уже пережил. Я все время сознавал, что именно я, Даррел Стэндинг, иду среди звезд и касаюсь их стеклянным жезлом. Короче говоря, я знал, что в этом нет ничего подлинного, что этого на самом деле не было и не будет. Я знал, что это лишь буйная оргия воображения, как у человека, накурившегося опиума, больного горячкой или просто крепко спящего.

И вдруг, когда мне было так хорошо и радостно, мой жезл пропустил звезду, и я сразу понял, что совершил тягчайшее преступление. И тут же раздался стук, громовый, властный и неумолимый, как железная поступь рока, он поразил меня и гулко пронесся по вселенной. Вся звездная система ослепительно засверкала, закружилась и исчезла в пламени.

Меня разрывала невыразимая мука. Я сразу же стал Даррелом Стэндингом, пожизненно заключенным, лежащим на полу в смиренной рубашке. И я понял, кто отозвал меня с небес. В пятой камере Эд Моррел начал что-то выстукивать мне.

Теперь я попытаюсь дать вам некоторое представление о необъятной протяженности времени и пространства, которую я ощущал. Много дней спустя я спросил у Моррела, что он мне выстукивал. Оказалось, это был простой вопрос: «Стэндинг, ты тут?» Он простучал его очень быстро, пока надзиратель был в другом конце коридора. Повторяю: он простучал свой вопрос очень быстро. Так поймите же: между первым и вторым ударом я снова унесся в звездный мир и снова шел, облаченный в шелковистое одеяние, касаясь каждой звезды на моем пути, к познанию всех тайн жизни. И, как прежде, я шел там века и века. Затем снова раздался стук – гром железной поступи рока, и снова меня разрывала невыразимая боль, и снова я оказался в моей камере в Сен-Квентине. Это Эд Моррел стукнул во второй раз. Промежуток между первым и вторым ударом длился пятую долю секунды. Но благодаря неизмеримой протяженности моего времени за эту пятую долю секунды я много столетий шел среди звезд.

Я знаю, читатель, что все рассказанное выше кажется бессмыслицей. Я согласен. Это бессмыслица. Но это случилось со мной и было так же реально, как реальны змеи и пауки для человека, допившегося до белой горячки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.